

ЕВГЕНИЙ ШИШКИН



ТАМАРА

ПОВЕСТЬ

*Виновата ли я? Виновата ли я?
Виновата ли я, что люблю?..*

(Из песни)

1

Тамара была счастлива. Её свежие полные губы утончались в таинственной полуулыбке, а серые, с крапчатой прозеленью глаза мягко блестели в загадочном прищуре при воспоминании о своём счастье. Уже целую осень и часть зимы она состояла в упоительном замужестве и часто, вроде бы ненароком, но на самом деле отнюдь не случайно, с погаённой неослабной гордостью бархотила любовным взглядом золотой обручальный хомутик на безымянном пальце правой руки. А иной раз, когда за стеклянной отгородкой прилавка пустовал без покупательей зальчик аптеки с пальмой в углу, Тамара опять становилась невестой, вспоминала шёлковый шорох подвенечного платья и мускулистую силу жениха, который нёс её на руках по широким, в несколько пролётов ступеням Дворца бракосочетания — на виду у всех!

И даже тогда, когда шамкающий голос взявшейся как из-под земли закутанной в шаль старухи-покупательницы вытаскивал Тамару из кареты памяти, летевшей по коротким вёрстам медовых дней, и возвращал за прила-

ШИШКИН Евгений Васильевич родился в 1956 г. в городе Кирове (Вятка). Работал на заводе, служил в армии, окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Высшие литературные курсы в Москве. Автор книг “До самого горизонта”, “Только о любви”, “Монстры и пигмеи”, “Южный крест”, “Концерт”, “Бесова душа”, “Закон сохранения любви”, “Правда и блаженство”. Автор пьес и сценариев к документальным фильмам. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

вок, Тамара поворачивала голову на голос появившейся посетительницы снисходительно и осторожно, как будто всё ещё держала на голове белоснежную вуаль фаты с венчиком из бумажных цветов, а не медицинскую форменную шапочку.

— Давайте-ка ваш рецепт, бабушка... Таблетки принимайте, как обычно: за полчаса до еды... Спасибо, и вам не болеть... А вы, молодой человек, не ошиблись заведением? Это аптека, а не винный магазин...

Тамаре даже подчас делалось как-то неловко от собственного состояния довольности: вокруг так много вздорных, неотёсанных, разлагаемых леностью и водкой мужчин-мужей, а вот у неё — у неё Спирин...

Он был хорошо образован — доцент, преподавал историю в юридическом университете. Он был старше Тамары на одиннадцать лет. “Почти на полжизни”, — шутила Тамара сама с собой: в невестах ей исполнилось двадцать три.

Поскольку Спирин долго жил холостяком — не хотел, чтобы семья отвлекала от диссертации, — из плотоядных ртов сплетниц лились повести о нём: будто бы он имеет множество любовниц и будто бы самые привлекательные студентки-заочники сдают ему экзамен “через постель”. Истины в таких речах было на ломаный грош; не Спирин волочился за женщинами, а на него расставляли крючки мечтавшие о замужестве девы да не прочь были прильнуть к нему и поразвлечься некоторые бабёнки-стервочки, ибо был он вправду красив: высок, виден, голубоглаз даже до какой-то неприличности.

Тамара никаких наживок на Спирина не припасала — не имелось у неё ловкости и дерзости для того. Спирин выплыл к ней сам, словно в награду за её долготерпение и кротость. Не рвалась Тамара из девичества, не пугалась своих набегающих неоплодотворённых годков, а будто предупреждённая свыше: час, мол, твой впереди! — ждала не ропща.

Бывало, заявятся к ней в общежитие ярко вымаранные косметикой, с налаченными причёсками подружки, с которыми вместе окончила она фармацевтический техникум, позовут на дискотеку или даже в ночной клуб. Тамара сперва согласится, а потом гребень вяло прорежет её волосы да и замрёт в руке, на лицо серо ляжет скучина, в прозелени глаз — разуверение.

— Чего ты скисла?

— Собирайся поживей, а то всех женихов разберут!

— Смотри, досидишься. Годы не воротишь, — начнут наседать на неё подруги.

— Без меня идите, девчонки. Не сердитесь. Не к душе мне сейчас, — отзовется Тамара на конечный уговор подруг, а после в одиночестве сядет на кровать, вроде бы беспричинно всплакнёт... Или вспомнит родное село, тепло натопленной печки, материны пироги... и тем утешится.

Случалось, конечно, вспоминала и свои увлечения. Не без того. Она ведь живая. Живая, мечтательная и страстная! Только вот попусту или на дураков страсть эту и заветные мечты расходовать не хотелось.

Несмотря на такое затворничество, были у Тамары увлечения. Последнее — Олег. Увлечение бестелесное, безобидное, почти переродившееся в дружбу; лишь поначалу Тамару и Олега повязала влюблённость: ходили в кино, однажды — в филармонию, ели мороженое в детском кафе, целовались в воровских потёмках подъезда, но потом Олег на целый год уехал в экспедицию на Тянь-Шань. Тамара не ждала его и не скучала по нему. Словом, робким всходам любви не суждено было развиться.

А теперь всё это уже не имело значения, хотя Олег из прошлого Тамары переступил в настоящее. Вот и сейчас он пришёл в аптеку, стоит у прилавка — спортивно-подтянутый, выбритый до лоска и загорелый даже зимой — не зря географ, путешественник, горнолыжник.

— Опять за провизией пожаловал? — доброжелательно подтрунивает Тамара, принимая от него большую пустую банку.

Олег исповедует принципы Брэгга и один день в неделю сидит на воде, на дистиллированной, аптечной.

— Вода — это лишний повод тебя увидеть, — улыбается Олег и, кажется, хочет понравиться Тамаре.

Он рассказывает о каких-то чудо-открытиях восточных диетологов, но Тамара слушает вполуха. Что ей до Олега, до его слов, до его запоздалых улыбок, если Спирин — всюду и только — Спи-и-рин!

И всё же в своих радостях Тамара начала суеверно замечать сбой: казалось, какие-то тёмные силы, чья-то зависть и злопыхательство сглазили её, овеяли дурным наговором: вот уже пятый месяц она в совместной жизни, а всё ещё пустоцветом. И нынче после работы, зимним вечером Тамара направится к бабке Люше, знахарке и колдунье, с жалобой на своё затянувшееся беззачатие. Чародейству старух, их настояям на корнях и травах Тамара доверяла даже больше, чем белому врачебному халату и той “химии”, которой сама торговала.

* * *

Жила бабка Люша на окраине города, куда не добрались ещё башенные краны, не привели за собой армаду многоэтажных домов. Здесь сохранялись в неприкосновенности деревянные постройки — некая городская деревня. Да и трудно было представить, чтобы колдунья жила в густонаселённом людском муравейнике: ей нужен свой дом, пусть худенький, зато свой...

Дом бабки Люши стал чахнуть вместе с ней, не осталось в нём следов прежнего наряда и ладности. Стоял он чуть накренившись, нахмутив над глазами-окнами треснутые карнизы. Сейчас крыша его была толсто окутана снегом, и дом выглядел молодёлым — скрывал под холодной белизной свою дряхлость.

Тамара постучала в дверь дома (звонка не было). Никто не отозвался. Дёрнула за ручку — дверь оказалась не заперта. Тамара прошла через тёмные сени, на ощупь нашла дверь в горницу. Постучала. Опять никто не отозвался. Но и эта дверь оказалась не заперта. Тамара вошла в горницу и сразу увидела бабку Люшу. Она сидела на кровати, на пёстром, из лоскутков сшитом одеяле; рядом с кроватью, на табуретке, стояли пузырьки и лежали таблетки, и вся горница была пропитана знакомым Тамаре запахом лекарств.

— Что же у тебя, баб Люш, все двери открыты? И на стук ты не отзываешься?

— Слышу я, девонька, плохо, — отозвалась бабка Люша. — Вот и двери не запираю. Вдруг соседка придёт поясницу мне натереть — не достучится. Печь вот еле сама-то истопила...

Постарела бабка Люша быстро. Тамара не видела её давненько — всё недосуг проводить старуху, бывшую соседку. Жили они когда-то в одном селе по соседству, пока разными предложениями не переманил их город. Темно и старо у бабки Люши лицо, безбровое и незначительное в тугом обхвате серого головного платя, губы — узкая провалившаяся лиловатость, и лишь глаза в окружье складок глядят свежо, черно, пронзительно — колдовские глаза.

— Ты уж прости меня, баб Люш, что я под вечер и без приглашения. Не напугала тебя?

— Мне пугаться некого. А покрасть у меня нечего — старость да болезни. Я бы их и сама кому хошь передала.

В горнице было сумрачно, но уютно от натопленной печи, от тёплой расцветки пёстрого одеяла, от мятного запаха трав, которые пучками висели на верёвке под потолком. На комод у бабки Люши лежали старые бусы. Тамара хорошо их помнила, бабка Люша то ли гадала на этих бусах, то ли любила ими забавляться как украшением, то ли использовала как чётки.

— Давненько ты, девонька, ко мне не заходила. Видать, дела всё молодые... Ну, раздевайся и рассказывай. Весёлая да нарядная!.. И рассказать, поди, есть чего... Я вот чайник подогреть поставлю. — Старуха, покряхтивая и горбясь, стала привечать гостью.

Сперва неспешно попили чаю: Тамара принесла конфет в угощенье; вспоминали, кто и как из бывших земляков жизнь устроил: кто женился, кто развёлся, кто уехал далече, кто в нездоровье мается, а кого уж и земля упокоила.

— Мне скоро туды же... Зажилась, — невесело усмехнулась старуха, помянув о своих немалых годах.

— Что ты! Смерть разве торопят? Тебе рано, баб Люш, — не одобрила Тамара и с лёгкой корыстью и опаской думала: “Кто же мне поможет, если ты умрёшь? Нет, живи подольше...”

Старуха взглянула на неё умными глазами и мысли Тамары будто услышала.

— С заботой, видать, пришла. Рассказывай. Покуда не померла, чем могу — подсоблю... Говори только погромче... От болезней уши-то — как заложённые.

Тамара о своих подозрениях поведала полно: и о возможном сглазе, и — страшно подумать! — о возможном бесплодии, хотя с чего бы это? На все скользкие старухины вопросы отвечала не таясь.

— А не в мужике ли твоём червоточина? — раздумчиво вопрошала бабка Люша. — Ты, глядишь, тут и ни при чём.

— Да что ты, баб Люш! Выдумки!

— Какие ж тут выдумки?

— А вот такие, — заговорила Тамара. — Мне рассказывали... У меня подруга есть, которая меня с ним и познакомила... Софья... Она по секрету мне сказала, что одна женщина несколько лет назад от него аборт делала... Значит, забеременела...

Бабка Люша на этот довод только усмехнулась, всерьёз не приняла, ответила странно:

— Забеременеть-то и от солдата можно. В жизни-то по-всякому бывает. Никто не знает, где какой омут припасён. И ты, девонька, помни, что в жизни-то не все гладью идёт... Ну ладно, ладно... Раздевайся-ка. Вся.

Старуха, шаркая шубными тапками, направилась за перегородку в кухню. Тамара, недоверчиво осмотревшись, стала расстёгивать кофточку.

Скоро Тамара стояла нагая, слегка поёживаясь и стесняясь белизны своих грудей, которые казались ей маловатыми и не подходящими испушённому в любви Спирину... А взглянув на своё отражение, пугливо и водянисто проступающее в полировке старого шифоньера, и вовсе пожалела себя. Неужели она бесплодна? Ведь нет на ней грехов, ничем не болела, по малолетству и по юности никаких глупостей не делала, не беременела, беременность не прерывала.

Скверные мысли прервала старуха — она явилась со стаканом воды и короткой чёрной верёвочкой.

— Ложись-ка, девонька, сюды, — указала она на высокую кровать под цветастым одеялом, с огромными мешанскими подушками в изголовье. — На живот. Правильно.

Что-то тихо пошептав, бабка Люша спрыснула Тамару водой, а потом стала прикладывать к её телу верёвочку, промеряя наискось от плеча до пяты. Тамара лежала, не шелохнувшись, ровно и незаметно дышала, чтобы не попутать важный диагностический замер. Врачевание бабки Люши многим из односельчан помогало одолеть хворь, заразу всякую, и сейчас авторитет её для Тамары был первейшим, почище любого профессорского. Водилось, правда, судя по слухам, за бабкой Люшей и неприглядное...

— Сглазу или порчи наговоренной я в тебе не нахожу, — промолвила старуха, спихивая с Тамары груз женского ущерба. — Погоди, поживи. Сколь, говоришь, у вас с ним сроку-то?.. Четыре месяца и десять дней? Эк ведь, как точно помнишь, — улыбнулась старуха, ласково глядя на раскрасневшуюся, разволнованную от радости Тамару. — Ничего, понесёшь, успеется... А мужик-то, сказывали, знатен тебе достался?

— Знатен, баб Люш... — заторопилась в счастливом поддакивании Тамара. — Умный, красивый, не пьёт, студентов учит... Я посмотрю на мужей своих знакомых, так меня тоска берёт: один — скуп, другой — неряха, третий — пьёт безбожно...

— Эк ведь! Твой-то чего, ангел?

— Для меня — ангел.

— Гляди, ангелы-то с крыльями бывают. Ангела-то, как попугая, в клетку не посадишь. Попугай-то своими перьями поглянулся — ну, посади его в клетку да любуйся на него. А вот ангела-то так не удержишь. Куда хошь улетит...

— Не улетит! — рассмеялась Тамара. Про себя подумала, утвердилась в мысли: “Вот рожу — никуда не улетит!” — Побегу, я баб Люш. Спасибо тебе большущее!

— Ну, беги, беги... Экая счастливица ты нынче. Дождалась, говоришь, своего? Да-а... — кивнула старуха, забавляя свои руки костяшками бус, словно чётками. — Уж больно любви-то в тебе много. А любовь да счастье тоже надо выдюжить.

Тамара уж было хотела переступить порог из горницы в сени, но бабка Люша вдруг тихо охнула. Нитка бус, истлевшая за долгие годы, лопнула, и белые камешки дождём сыпанули на половицы. Тамаре пришлось задержаться, собрать рассыпавшееся украшение. Старуха тоже, болезненно сгибая поясницу, принялась выискивать по избе бусины, а при этом бормотала:

— Бусы порвались. Перед самым уходом из дому. Надо ж как! Не хороша примета... — Но чтобы не пугать Тамару, прибавляла: — В старину говорили: не хороша. Теперь люди по-другому веруют.

2

Из дома бабки Люши Тамара выбежала, будто школьница, на каникулы отпущенная... Выскочила из тёмных сеней на приступок, за спиной громыхнула дверь на пружине, с козырька над крыльцом от какого-то духовения или сотрясения полетела снежная осыпка; снежинки угодили в глаза Тамаре, она прищурилась — жёлтыми кляксами с острыми заливами расплескались перед ней фонарные огни вечерней улицы.

С трамвайной остановки Тамара повернула не в сторону своего дома, а направилась в распахнутые, вмерзшие в сугроб чугунные ворота парка, который противоположным боком подступал к университету. У Спирина сегодня вечерняя лекция, вот она и дожждётся его, чтобы идти домой вместе, под руку. Обычно она не заходила за мужем на службу, а тут пошла: до женских откровений она пусть и не охотница и не выдаст интимных целей посещения бабки Люши, но, не отягивая, приласкаться к Спирину, безмолвно поделиться с ним радостью раззадорилась.

Шла бойко, размышляла с охотой, на волне приподнятого настроения. Как же молодой семье жить без первенца! Да и пора, самое время ей рожать! Правда, Спирина на это счёт покуда помалкивает, ни на чём не настаивает, не торопит. В общем, это и понятно: в первую очередь задуматься о потомстве — дело женское... Тамара представила день, когда шепнет Спирину на ухо: “У нас будет ребёнок...” Ей стало и весело, и чуточку тревожно, и ещё сильнее захотелось прильнуть к Спирину, не откладывая.

Аллея была неширока и глуховата, крупные могучие деревья росли тесно и плели над головой сито. Но несмотря на это, молодцом смотрелся между ветвей тонкий яркий месяц — кавалер с усами, а вокруг него колыхались, прыгали с ветки на ветку разгоревшиеся к ночи звёзды. Тамару радовал вид этого безболезненно иссечённого деревьями неба, толстый снег вокруг, искрящийся, чистый, этот морозно поскрипывающий под подошвами путь через парк.

Той же аллеей она шла со Спириным в день знакомства. Это случилось ранней весной. Под ватным небом дул резкий, шальной ветер, глушил голос, — чтобы слышать друг друга, надо было сближать лица, — и Тамаре было безумно страшно и сладко окунуться в голубизну спириных глаз и временами тонуть в них, беспомощно барахтаясь...

“Вы не замерзли?” — спрашивал он и, видимо, рассчитывал обнять её.

“Нет, нет!” — мотала головой до костей продрогшая Тамара и отгораживалась воротником от своего спутника.

А потом она всю ночь ёрзала и ворочалась на бессонной общежитской койке, казнилась, что вела себя дикаркой и букой. “Глупая... Глупая!” —

корила она себя, размазывая по ладоням и по подушке слёзы обиды: ведь Спирин, проводив её, не назначил ей свидания, только пообещал позвонить. А что такое позвонить? Совсем необязательно!

Однако перестал уже бесноваться весенний ветер, аллея бела декабрьским снегом, в небе — серебряный удалец-месяц среди многочисленного гарема звёзд... И думалось ей о чём-то нежном, невыразимом, уютном.

...Спирин ей тогда позвонил на другой же день, назначил свидание — пригласил на концерт какого-то столичного гастролирующего саксофониста в филармонию, а потом, хотя Тамара и отказывалась, говорила, что уже поздно, что завтра ей рано на работу, однако он “увёл” её в маленький ресторан “Грот”, где угощал испанским вином и кофе по-турецки.

Вино было терпким, приторным и вязущим, а кофе был горьким и крепким. Тамара к таким напиткам не привыкла, да и виртуозные импровизации саксофона не понимала, но очень скоро поняла, что и в музыке, и в бокале вина, и в чашке кофе сама растворяется без остатка... А ещё через день, когда Спирин впервые поднял её на руки в своей квартире и понёс в спальню, она поняла, как много он стал значить в её жизни. Вернее, жизнь её так счастливо стала зависеть от его желаний...

* * *

В коридорах университета было пусто, но это была не мертвенность безлюдья, а временное, зыбкое неприсутствие: чувствовалось, что здание живёт своими задверными внутренностями. Откуда-то из недр доносились шорохи, отзвуки диктующего голоса, шум покашливаний; там, за дверями происходило *познание*, и одним из главных действующих лиц этого действия являлся Спирин. Гордость за мужа охватила Тамару в коридорах университета и давнее благоговение к высшему образованию, на которое она теперь тоже имела виды, желая не слишком отставать от мужа.

Ещё за несколько шагов до аудитории, в которой Спирин читал лекцию заочникам (началась зимняя сессия, перед экзаменами новый материал заочникам “начитывался” вечерами), и у Тамары сладко ворохнулось сердце: долетели ноты родного голоса. Она подошла к двери, чуть потянула её, заглянула в получившуюся щель. Аудитория ровными ступенчатыми рядами столов и скамей и неровными разномастными рядами студенческих затылков и спин шла под уклон к кафедре, которую занимал Спирин. Он стоял почти прямо против двери и даже в щёлку был отлично виден.

Он был сегодня как-то особенно хорош, артистичен и элегантен, в тёмно-синем костюме с чёрной полоской, в густо-бордовом галстуке и в голубой рубашке под цвет глаз. И вдохновенен. Голос его в резонирующем просторе зала рокотал выстрелами пушек и ружей во времена покорения Наполеоном Европы, опрометчивым галопом забегая на холодные пространства России в год двенадцатый, когда русские люди “гению и извергу” преподнесли урок, и вновь звучно перечислял вероломные успешные кампании коротконового французского императора. Хотя Тамара не видела лиц студентов, она чувствовала, что Спирина усердно внемлют; она бы и сама, пристроившись на краешек студенческой скамьи, послушала его с интересом.

Тамара бесшумно отошла от двери; заключительный десяток минут мужниной лекции она решила убить разглядыванием коридорных стендов. Лекционная “пара”, однако, кончилась даже чуть раньше: она была последней, и, вероятно, вахтер по наущению уборщиц урезал науку на несколько минут.

Из дверей к лестничному пролёту потекли студенты-заочники, большинство уже приличного, не ребячьего возраста, некоторые из них в милицеевской или военной форме — неспроста, будущие юристы. Тамара не спешила пробиться сквозь них и показаться Спирина; напротив, задумала разыграть его, подкрасться сзади и ослепить ладонями: додумается ли он, умник, кто его дурачит, ведь он её здесь совсем не ждёт?

Вот, казалось, и последний нерасторопный и дотошный очкарик с портфелем под мышкой и раскрытой тетрадь в руках выбрался из аудитории,

но сам Спирин не появлялся. Тамара ещё некоторое время хоронилась в тёмном конце коридора, потом не утерпела, подошла к двери аудитории, но дверь, оказалось, была уже заперта...

“Как? Почему?” — изумилась Тамара, потянула ручку сильнее, хотела уже постучаться, но вдруг услышала оттуда, из-за неплотно подогнанных дверей, женский смех и экзальтированную фразу: “Ты представляешь?!” Дальше женский голос зажурчал каким-то быстрым увлечённым рассказом, иногда перебивая себя смехом.

В аудиторию вела и другая дверь, и Тамара торопливо перешла к ней, с недоумением и тревогой, словно там, внутри, над Спириным нависла угроза. Вторая дверь тоже оказалась заперта, по-видимому, ею и не пользовались: к ней приткнулась кожаная банкетка. Зато эта, вторая дверь, в отличие от первой, имела в створках рифлённые прямоугольники стекла. Видеть сквозь них было невозможно, но стеклянная плоскость в одной из створок была составной — из неплотно состыкованных стекол. Оттуда сквозил свет из аудитории. Тамара встала коленями на банкетку, прислонилась к стеклу, испуганный её взгляд сбежал по ступеням пустых рядов и вдруг... Она обмерла.

На преподавательском столе сидела желтоволосая, в красном платье и чёрных чулках, со смазливym красногубым лицом девица, которая, жестикулируя свободной левой рукой (правой она обнимала за шею Спирина), что-то говорила и изъезженными громкими словами: “Ты представляешь?!” — предлагала ему удивляться.

Спирин стоял, притиснувшись к её коленям, слегка кивал головой, улыбался и держал свои руки у неё на талии. Все между ними: поза, мимика, любовные притискивания друг к другу — выглядело безбоязненно-естественным, очень своимским, будто они были двое свободных влюблённых на скамейке у городского пруда...

Тамара часто дышала, и собственное горячее дыхание, отразившись от стекла, обжигало её лицо стыдом и обидой, а глаза всё не могли поверить и мучительно насытиться отравой открывшейся правды. После очередного всплеска смеха девица обеими руками обняла шею Спирина и близко-близко поднесла свой красный рот к его лицу; Спирин откликнулся на это ласковым вниманием: средним пальцем правой руки провёл её по брови и оттолкнул жёлтую боковую прядь волос, так что открылось её ухо с золотой длинной висюлькой. Такое прикосновение руки Спирина часто испытывала на себе и Тамара...

Она оторвалась от стекла, пощадила свои глаза и своё надрывающееся сердце и побежала по коридору; полы её расстёгнутого пальто нервно прыгали, под каблуками рвался порох коридорного паркета.

Она опустилась вниз, зачем-то подбежала к дежурному на вахте, быстро спросила:

— Это последняя лекция?

— Последняя. Расписание вона висит, — недовольно отозвался заспанного вида дебелий вахтер.

Тамара ринулась к расписанию занятий, что-то высмотрела в нём, потом направилась к выходу, но на полдороги, словно обезумевши, резко повернула обратно. Подтягивая себя рукой за перила, она частила по ступеням вверх, но услышав на лестнице чьи-то спускающиеся шаги и голоса, затормозила, и теперь уже иная волна понесла её на выход, подальше от того места, где предательство, обман и бесчестье.

Она выбежала на улицу, растерянно остановилась. Перед ней — широкая, ревливая мостовая в белых и рубиновых огнях машин, под ногами гудит земля от тяжёлых колесных скатов. Холодный ветер, гонимый близко проезжавшими автобусами, ударял в Тамару, проникал под незастёгнутое пальто, но не ослаблял жгучести и духоты горя, вынесенного из здания за спиной.

В надлом души вдруг отчаянной молнией прорвалась мысль: разом всё кончить! Переступить холмик грязного обочного снега, шагнуть на мостовую, в сутолоку машин, в рёв, в сутолоку красно-белых светляков огней... И прекратить муку.

Неловкий телесистый парень нечаянно задел Тамару большой сумкой, наскоро извинился, чем отвлек её от соблазнительного безрассудства. Она быстро запахнула пальто и следом за неуклюжим парнем пошла в узкое русло подземного туннеля, спасаясь в нём от убийственной мостовой...

“Вот тебе, вот! Так и надо, дура! Получай!” — беспощадно шептали её губы.

“За что? Ну, за что? Почему?” — умоляюще спрашивало обманутое сердце.

3

О, Господи, как хорошо было влюбиться в первый раз! Это было в четырнадцать лет... И мальчик Костя был таким светлым, романтичным, непорочным, умеющим так красиво и нежно петь!

Минуло много лет (почти десять!) с той ночи, когда Тамару поцеловали в первый раз. И хотя потом (за десять-то лет!) её целовали разные юноши и мужчины, которые нравились ей одни — больше, другие — меньше, а третьи и вовсе никак не пьянили душу, и их растеряла память, но *своего первого* Костю она помнила свежо и отчётливо, будто всего минуту назад Тамара сняла с его плеч свои руки и, сбивая с травы росу, в предутренних сумерках пошла от него к своему спальному корпусу, где жили хоровики, а он — к своему, привилегированному, где жили вокалисты.

Почему она не забыла Костю, с которым они сдружились на молодёжной туристической базе, куда собрали из разных районов самодеятельные песенные коллективы? Неужели впечатления первого поцелуя и той первой робкой любви оказались настолько сильными, что время не обесцветило в её сознании образ мальчика с высоким голосом, конкурсанта или даже лауреата какого-то фестиваля? Да и была ли это любовь, ведь в четырнадцать лет так легко приобрести крылья сиюминутной влюблённости и полететь неведомо куда, совершенно не думая, чем кончится этот бесшабашный полёт!

Но возможно, именно эта влюблённость осталась самой ценной для Тамары из юности, ведь она ничем не была омрачена и была истинно первой и светлой.

...Снова видится Тамаре молодёжная туристическая база на высоком бело-глинистом крутояре, густая ярко-зелёная хвоя сосен близлежащего леса, видится белая песчаная тропинка, наискось стекающая с обрыва, ведущая через низинку к излучине реки, а потом плутающая в прибрежном ивняке и, наконец, обрывающаяся у старого деревянного причала, где и проводила Тамара счастливые часы с Костей.

Он умел играть на гитаре и после дневных репетиций развлекал на поляне бардовскими песнями парней и девушек; его слушали, ему подпевали, тайно и явно завидовали умению перебирать струны, хотя и знал-то он не более десятка самых расхожих аккордов.

Тамара слушала всегда его песни с нарочитым равнодушием, сидела на поляне дальше всех остальных, читала книгу и редко поднимала на Костю глаза. Она с нетерпением ждала, когда он передаст кому-нибудь гитару, и они уйдут ото всех, уйдут на своё любимое место, и только она будет слышать, как поёт Костя, красиво, высоко и нежно.

Так и случалось. После аплодисментов Костя передавал гитару другому самодеятельному певцу, подходил к Тамаре и молча кивал ей. Им даже не нужно было слов. Они отправлялись к реке, на берег, туда, где ветхий заброшенный причал. Здесь они садились на край причала, глядели на реку, глядели в небо, следили, как ползут в высоте огромные белые облака, очерченные на голубизне неба красивыми загибулинами.

— Когда я смотрю на белые облака, — тихо признавался Костя, — мне почему-то становится тоскливо. И хочется петь самые грустные песни. Наверно, так же тосковал какой-нибудь ямщик. Сидел себе на облучке, ехал где-нибудь по степи и пел заунывные песни. Я и сам иногда себя ямщиком чувствую. Еду будто по небу среди белых облаков...

— Спой мне песню, — неожиданно просила Тамара. — Ты же любишь ямщицкие песни.

Тут Костя немного набивал себе цену, слегка капризничал:

— Но тебе ведь не нравится, как я пою. Ты дальше всех садишься, когда я беру в руки гитару. Или уходишь книжку читать.

— Там ты для всех поешь. А ты для меня, только для меня спой какую-нибудь свою любимую песню.

И Тамара, чтобы не смущать Костю, переводила взгляд на померкшую воду реки, на которой золотыми мазками рассыпалось заходящее солнце, или на другой берег, где были видны курганы свежего сена, над ними чиркали в светливом полёте острокрылые ласточки.

А Костя, давая себе паузу для настроения, начинал запев. Он начинал петь негромко, тонко, бережно и чисто:

*Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня...
Ждёт меня жена
Ой, ревнивая!*

С каждым словом, с каждой строчкой песня отвоёвывала себе всё больше и больше пространства, лилась раздольно, проникновенно и широко, наполняя Тамару какой-то отрадой и упоительной грустью. Ей казалось, что без аккомпанемента у Кости выходило не хуже, а лучше — вольнее, откровеннее, шире. Он пел высоко — так отважно высоко, что Тамара побаивалась, что он сорвётся, захрипит, захлебнувшись воздухом. Тамаре чудилось, что его голос поднимается в поднебесье, рассыпается там на тысячи звонких капель и этим поющим дождём возвращается на землю.

Но песня обрывалась.

С реки, издали, доносилось глуховатое тырканье мотора, вскоре на излучине мимо бакена с тлеющими на макушке огоньком появлялась низкая длинная баржа, неуклюже выползала из-за поворота; её толкал буксир с белющим фасадом штурманской кабины. Буксир портил песню и раздирал окружающий покой басовитым чужеродным звуком, разгонял воду со стремнины на края. На осклизлые бревна старого причала набегали волны, шлёпались, пенились, просились на берег. Затем опять становилось тихо. А недопетая песня где-то дотлевала.

— Мне иногда кажется, что мы здесь одни на всём свете... — говорила Тамара.

Костя ложился на причал навзничь, раскидывал руки; он любил так лежать и объяснял это необычно:

— Если запрокинуть голову и лежать некоторое время зажмурившись, а потом резко открыть глаза, то появится ощущение, будто паришь в облаках. Попробуй!

Тамара осторожно опускалась на причал, раскидывала руки, зажмурилась, потом резко открывала глаза. Нет, у неё не получалось лететь по небу, но она говорила, что тоже видит перед собой “перевернутую землю”.

А однажды, так же закрыв глаза в поисках “перевернутой земли”, Тамара почувствовала на своих губах губы Кости. Целовались они неумело, стыдливо, и потом некоторое время ещё стеснялись, но всё больше тянулись друг к другу.

Перед расставанием, перед отъездом с туристической базы, они поклялись, что никогда не забудут свой причал, что никогда не будут писать друг другу писем, никогда больше не будут искать встречи.

— Мы будем помнить друг друга — и всё. Ведь этого хватит? — спрашивал Костя, и Тамара, держа свои руки на его плечах, с какой-то лёгкостью, вовсе не задумываясь, почему он требует от неё утвердительного ответа, соглашалась:

— Этого хватит. На всю жизнь хватит.

О, Господи, как хорошо было влюбиться в первый раз!

А что теперь? Зачем она утешает или, наоборот, распяляет себя мыслями о прошлом? Зачем ей такие сладенькие картинки вроде того милого мальчика с вокальными данными, ведь это то же самое, что утопающему — соломинка, или человеку, которому ударом копья пробили сердце, дать для поддержания организма какой-нибудь кисло-сладкой аскорбинки...

Тамара ходила по городу, не замечая пути, не замечая времени, она просто не могла понять: можно ли ей вообще возвращаться домой? Может быть, разрубить всё разом? Ведь как верно они сделали с тем Костей: не стали встречаться. Они поступили мудро, хоть и были тогда сопляками, почувствовали, где грань, за которую не надо переходить. Может быть, и сейчас ей сбежать, уйти от Спирина?

На улице становилось холоднее, Тамара несколько раз заходила в магазины, чтобы погреться, но ничего там не покупала. За время своего замужества она впервые не хотела, не спешила идти домой. Может быть, это какое-то заблуждение, мираж, обман зрения? И она тут же порывалась домой. Да какой обман? Чувшь! Он просто любит другую... И она опять петляла по улицам, прижигала своё сердце недавно увиденной сценой, а потом какими-то воспоминаниями, которые казались счастливыми, бесполезно пыталась залечить его.

4

Тамара пришла домой поздно, уставшая и продрогшая, с первыми морщинками на лице. Трусливо прятала глаза от Спирина, словно она, а не он был одним из тех шкодливых влюблённых, которые не нашли лучшего места для утех, чем кафедра в университетской аудитории.

— Ты где пропадаешь, лапа? Я уже собирался в вытрезвитель звонить, — шуткой встретил её благодушный, невозмутимый Спирин, помог снять пальто.

— У бабки Люши задержалась. Она просила меня лекарства ей принести... — заготовленной отговоркой объяснилась Тамара, неприятно испытывая скованность и некоторую панику от прикосновений мужа, будто в университете он заразился какой-то скверной.

— Тебя чайком напоить? Я как раз заварил свеженького, — предложил Спирин, вероятно, догадываясь по холодному облаку, которое принесла с улицы Тамара, что ей не помешает выпить горяченького. — А может, рюмку водки для сугреву? Ты как, лапа?

Спирин был сейчас весел и добр, и абсолютно неизменен — как до *рокового сегодня*. Он называл Тамару по обыкновению “лапой” — сокращенно-шутейное от “лапочки”, а в окрасе его голоса и в выражении лица не слышалось и не читалось даже полутонов и штрихов натянутости и двуличия.

— Нет, не надо водки. А чай — я потом, — отказалась Тамара и, не заходя в комнату, чтобы сумрак прихожей, в которой горел лишь настенный светильник, помогал утаить настроение, пошла в ванную. — Я в ванне погреюсь. Ты ложись спать, не жди меня.

Стыдно! Жутко стыдно! Нет, ей стыдно не за себя, а за него. Она думала, что Спирин на неё глаза не посмеет поднять после того, что случилось. А всё не так. Это у неё внутри всё дрожит, а у него никакой натянутости, никакого смущения. Ни одной беспокойной ноты, ни одного извинительного тона. Тамара отсиживалась в ванной, впуская воду — для шума.

В остатный час вечера ей удалось избежать разговоров со Спириным, его возможных ласк и позже него лечь в постель. И опять это было впервые — чтобы она не хотела общения и объятий мужа.

Она долго лежала в неподвижности притворного сна, дожидаясь, когда Спирин уже не сможет разлепить веки, если даже она потревожит тишину комнаты вздохами или плачем. Потом поднялась с постели, перебралась на стул к окну, под размытый синий свет месяца.

Мысли Тамары слегка поостыли, не кидались с одного на другое в поисках боли и утешения, и сейчас ей хотелось всё осознать, добраться до какой-

то страшной, но простой истины, отвечающей на мучительные вопросы “За что? Почему?”

Она переводила задумчивый взгляд с унылой сини ночного окна, в котором висел месяц, на постель, где безмятежно посапывал Спирин. Она понимала, что любая истина, открытая ей, окажется неполной, ибо главное скрыто в нём, в её муже, в его безоблачном настроении, в его шутках, в совершенной непогрешимости его вида, в этой обычности его мирного беззаботного посапывания. Она не испытывала к Спирину неприязни или брезгливости, хотя, ложась рядом с ним в постель, страшилась и назло себе хотела поймать запах чужой косметики, чужого женского тела, исходящий от него. Она лишь смутно и больно догадывалась, что уже не сможет быть с ним той, какой была прежде, — безоглядной, беспамятной...

Но чем дольше Тамара горбилась на стуле, поджимая босые зябнувшие ноги, тем всё шире разрасталось в ней желание хотя бы отчасти оправдать мужа. Не он, а *та... та*, которая нахально забралась к нему на стол, больше всех виновата! Детально припомнилась её одежда: броское огневое платье, чёрные чулки, вульгарная желтизна крашенных волос, алчные пунцовые губы и цепкие, звериные ногти (хотя, по правде говоря, её ногтей Тамара не различила). А это дурацкое “Ты представляешь?!” — Тамара передразнила соперницу, — а развязный смехок?..

“Проститутка... — прошептала Тамара. — Она просто хочет легко экзамены сдать... Хитрая шлюха!” Но вместе с тускло забрезжившей в душе успокоенностью, что Спирин не так уж порочен, а скорее, доверчив, липкий и противный, как болотный ил, стал обволакивать страх, что “проститутка” походя, даже ради забавы может разрушить её семью. И плевать ей, бессовестной, что любовь Тамары к мужу чиста и преданна. Плевать гадине!

Тамаре хотелось кинуться на постель к Спирину, разбудить его, растряссти, выпытать всё от начала до конца и спасти и его, и себя от позора или, в другом случае, решить вопрос с разводом, чтобы не позволять втаптывать себя в грязь... Но она усидела на стуле, не сорвалась. Она очень любила и немного побаивалась Спирина. Она помнила его урок, который он дал ей сразу же, на второй день после свадьбы.

...Тамара прекрасно помнила то утро — ещё бы забыть, после первой-то брачной ночи! — когда дом был полон цветов, подарков, когда во всей атмосфере было разлито что-то пьянящее, даже наркотическое, словно бы всё было и не наяву, а продолжением какого-то безумно восторженного сна. Спирин в нарядном светлом халате с атласными лацканами пришёл в спальню с подносом, на котором были кофейник, чашки и им приготовленные гренки.

— Это тебе, лапа. Наш первый семейный завтрак. — Он поставил поднос на столик рядом с кроватью, запах кофе ещё ярче украсил дом новобрачных. Спирин поцеловал Тамару в нос и, проведя средним пальцем правой руки ей по брови, оттолкнул боковую прядь её распущенных волос. — Хочу тебя спросить: ты не против, что я называю тебя “лапой”?

— Нет! Совсем нет! — отозвалась Тамара, прижимаясь к мужу.

— А хочешь, я дам тебе рецепт семейного счастья? — спросил он с некоторой иронией, однако под этой иронией чувствовались вполне серьёзные намерения.

— Хочу! Конечно, хочу!

— Ты доверяешь мне, лапа? — нежно спросил он.

— Я не только тебе доверяю, я преклоняюсь перед тобой. Ты старший. Ты опытный. Ты такой умный. А ещё преподаватель. Я слова “доцент” даже побаиваюсь, — ответила Тамара. — Я верю каждому твоему слову, каждому взгляду.

— Тем лучше, — признал похвалы Спирин. — Итак, некоторые правила поведения для женщин, которые хотят счастливой супружеской жизни.

— Итак!

— Если женщина хочет быть счастлива и спокойна в совместной жизни с любимым мужчиной, она должна крепко усвоить первое святое правило:

никогда не задавать мужу вопросов. Слышишь, лапа, святое! — с юмором, но опять же не в шутку подсказывал ей Спирин. — Никогда не задавать мужу вопросов! Поняла?

— Что? Совсем никогда? — удивилась Тамара.

— Совсем! Совсем и никогда! — подтвердил Спирин. — Ничто не раздражает мужчину больше, чем вопросы женщины. Причем эти вопросы часто бывают, мягко говоря, не очень рациональными и продуманными. Если муж сочтёт нужным что-то рассказать жене, чем-то с ней поделиться, он делает это без всякого нажима, без всяких понуканий... Согласна, лапа?

— Согласна! — твёрдо признала Тамара.

— Второе правило счастливой супружеской жизни, — поучал Спирин. — Никогда не посягать на суверенитет личности. Ничто не губит супружескую жизнь больше, чем отсутствие некоторой свободы. Свободы в пристрастиях, в увлечениях, в покупках, в некоторых маленьких секретах.

— Это как же? В каких-таких увлечениях и секретах? — недоумевала Тамара.

— У нас на кафедре работает профессор Никулин, — примером решил прокомментировать Спирин второй пункт из своего рецепта счастья. — Обаятельный, учтивый человек, мухи не обидит. Он даже “неудов” студентам-бездельникам не ставит. Но водится за ним одна страстишка — скачки. Два раза в месяц он непременно пропадает на ипподроме и играет на тотализаторе. Вернее, сказать, проигрывает. Всегда проигрывает, почти без исключений... А однажды он проиграл очень много. Так вот его жена, от которой он усердно скрывал свои проигрыши, приперла его к стенке и заставила сознаться, куда у них подевались деньги. Он, наверное, мог выкрутиться, перезанять нужную сумму. Но она разбила его суверенитет, забралась в святая святых, взяла его за горло...

— И чем кончилось? — не терпелось узнать развязку Тамаре.

— Через месяц они разошлись. Она, оказывается, всю жизнь мечтала о даче и, узнав о том, что муж транжирит деньги на ипподроме и дачи ей никогда не видать, не смогла перенести удар.

Тамара рассмеялась:

— Какая ерунда!

— Э-э, нет, это совсем не ерунда... Ерундой это кажется только из постели новобрачных... — Спирин стал щекотать Тамару, она взвизгивала и металась по постели.

— А ещё есть какие-нибудь законы или правила для счастья? — спросила Тамара после игры.

— Разумеется, есть, — ответил Спирин. — Женщина не должна навязывать мужу свое мнение, свою заботу, свою любовь, свои желания... Она должна быть все время с мужем, но и как бы несколько в стороне. Потому что счастье навязчивым не бывает.

Тамара призадумалась, чувствовалось, что ей нужны пояснения. Спирин не заставил её ждать:

— Вот идёт человек по лесу, прекрасная погода, светит солнце, поют птицы. Человек наслаждается природой. Выходит он на полянку. Крутом цветы, зелень. Сердце радуется. Глядит человек на куст шиповника, на котором распустились цветы, и видит, как пчела сидит на одном из цветков и собирает нектар... Замечательная картина... Но что такое? Вдруг красивая полосатая пчела бросила трудиться и стала кружить над человеком. И ему уже не нужна ни красота этой пчелы, ни красота леса и поляны, ему хочется поскорее убежать, скрыться от всего этого... Так вот, — поучительно поднял палец вверх Спирин, — счастье никогда не может быть навязчивым. Ты слышишь, меня, лапа?

— Слышу. Я всё слышу, милый.

Тамара безусловно верила его опытности и уму, и училась сдерживать себя, иногда помалкивать.

...Промолчит Тамара и теперь, в этот страшный, переломный, предательский вечер. Не растрясёт Спирина, не нарушит заповедей жениного счастья, о которых услышала в первый день замужества.

Спирин преспокойно спал, а Тамара сидела на стуле у окна и тихо плакала. Её слёзы наливались синим светом: на них бесстрастно глядел молодой месяц, красавец и развратник, в окружении несчастных беззащитных звёзд.

5

Через несколько дней Тамара знала, что фамилия той, которую она назвала проституткой, Курдюмова, что она иногородняя, остановилась на время сессии в гостинице (специально в гостинице, а не в общежитии, как большинство заочниц, чтобы облегчить возможность любовных свиданий, как догадалась Тамара), а Спирин иногда провожает её до гостиницы и задерживается на час-другой у неё в номере.

Да, Тамара выследила его! Она обмирала от стыда и страха, мерзла на холоде и вязла в сугробе, прячась на газоне за углом дома и выверяя маршрут мужа и его распутной ученицы. Вот как внезапно и жестоко вывернулось неприглядной сутью её счастливое брачное начало! Хотя Тамаре было унижительно и противно шпионство, но какая-то слепая, страстная сила требовала и дальше изыскивать сведения о той, кого невзначай увидела она в просвет меж рифлёных стекол, которая подстроила ей такой выверт судьбы...

“Эх, судьба, судьба!” — думала Тамара и вспоминала фразу, услышанную от Олега. Эту фразу он произнёс однажды по какому-то безобидному поводу, когда они торопились в кино, однако опоздали на сеанс. Пришлось возвращаться домой, начался дождь, а у них не было зонта, и Тамара обмолвилась:

“Не везёт...”

“Ну, что ты! — утешил тогда её Олег, укрывая её плечи своим пиджаком. — Никогда не жалуйся на судьбу сегодня, ибо завтра она тебе устроит такое, что сегодняшнее невезение тебе покажется праздником”.

“Какой уж тут праздник!” — вздыхала теперь, больше года спустя Тамара, теперь уже совсем не по поводу опоздания в кино...

Всплыл в памяти образ многоопытной бабки Люши. А ведь она словно бы угадывала такой оборот, намёками предупреждала. Почему же Тамара её не услышала, не вняла ей? А что было бы, если бы и услышала? Легче бы было переносить предательство мужа? Тамара с ужасом вспоминала о Спирине и о той красногубой заочнице, которую Спирин... с которой Спирин... за которой Спирин... Да что же она за птица, в конце концов, эта студентка?!

...Рассказать кое-что о Курдюмовой могла обыкновенная учётная карточка студента. К ней дорога для Тамары была известна: в деканате заочного отделения работала её приятельница Софья, милая чернявая женщина с тёмным пушком над верхней губой и с золотым увесистым перстнем на указательном пальце. Софья в жизни Тамары была фигурой не последней: это она и познакомила Тамару со Спириным, когда они как-то раз вместе оказались возле её стола. Для Софьи же в Тамаре имелся свой прок: через Тамару лежал путь к разным таблеткам, проверенным модой и дефицитом.

— Тamarочка, мне срочно нужен браслет от давления. Когда меняется погода, я просто умираю — голова кружится. Мне посоветовали... У вас, наверно, в аптеке бывают? — спрашивала Софья, поправляя перстень на пухловатом пальце.

— Наверно, бывают,— отвечала Тамара, ничуть не задумываясь о браслете.

— А ещё мне посоветовали обратиться к экстрасенсу. Но я, знаешь, ужасно боюсь этих экстрасенсов. Женщинам, разным гадалкам и магам я не верю, а мужчины-экстрасенсы, мне кажется, думают только об одном: как бы заманить пациенток... И пожалуйста, принеси мне, Тamarочка, того снотворного, которое приносила раньше. Не могу по ночам уснуть. Я уже боюсь, Тamarочка, что стала прокажённой наркоманкой или, как там по-научному, — токсикоманкой? Да?.. Ты чего там увидела?

Всё это время Тамара слушала Софью рассеянно, её интересовали объёмные картонные папки, выстроившиеся на полке рядком, с цифрами и символами на корешках.

— Мне бы... — чуть покраснела Тамара, виноватясь и замешкавшись. — У нас там, в техникуме, вечер встречи намечается... Мне бы... Вроде бы на заочном у вас в сорок четвёртой группе Наташа Куликова учится. Она с нами была. Адрес бы её узнать, она переехала. Меня просили. — Прозвучало это сбивчиво и не очень убедительно, но Софье и в голову не могло прийти, что заглянуть в папку с кодом “ЮЗ—44” для Тамары трепетно и важно.

— Нет ничего проще, — сказала Софья, и скоро нужная папка лежала на столе.

Тамара ниже склонила голову к поданной папке, чтобы Софья не разглядела на её лице краску волнения — щеки загорелись — и напряжёнными пальцами распустила тесёмки. К счастью, Софью отвлек телефонный звонок и несправедливый разговор с каким-то начальством. А бывшей сокурсницы Наташи Куликовой в природе не существовало, но вымышленная фамилия недаром начиналась с буквы “к” — рядышком с Курдюмовой, — на всякий случай. Это был Тамарин маневр...

...Казаков, Калинина, Кузьмин... Вот и она, Курдюмова Светлана... Год рождения... Домашний адрес... Семейное положение... Сведения о детях... Место работы... Тамара быстро читала, перечитывала, а с небольшой фотографии в верхнем углу на неё прямо и неотступно глядели тёмные глаза Курдюмовой. На фото она была явно моложе и немного другая: с наивной чёлкой на лбу, волосы русы, ещё не крашены в жёлтое, и губы, похоже, без жирного помадного слоя, но взгляд всё равно самоуверенный, вызывающий...

— Здесь нет, — сказала Тамара и закрыла папку.

— Может быть, в сорок третьей? Не ошиблась? — спросила Софья, прикрывая ладонью микрофон трубки.

— Не беспокойся. Я вспомнила, что у нашего старосты записан телефон её родителей. Найдём.

Папка с документами группы ЮЗ—44 заняла прогал на полке. Для Софьи факт выемки и возвращения этих документов на своё место был ничтожным, сразу позабыт, зато Тамара ещё долго мысленно перебирала анкетные данные одной из карточек в этой папке.

“Она меня старше. Замужем. Есть сын... А живёт в Ясногорске. Это километров двести отсюда, даже больше. Улица Дружбы, дом 9, квартира 10. Адрес легко запоминается. Хотя зачем мне адрес?... И всё-таки она замужем. Значит, кому-то жена... Но и Спирин не холостяк...”

Сколько раз Тамара слышала от женщин разных поколений, от женщин сельских и городских, в шутку и абсолютно всерьёз, что все мужчины — кобели... Но прежде её это не касалось, она и сути этих слов понять не могла да и не хотела. А теперь на себе (на собственной шкуре! — издевалась над собой Тамара) пришлось познать смысл растиражированной фразы, то ли афоризма, то ли непреложной истины.

...В аптеке, где Тамара работала провизором, прибиралась уборщица, низенькая, неброской внешности, но при этом преинтереснейшая женщина — тетя Шура, с провинциальной родословной и деревенским диалектом, прямолинейно-открытая в суждениях о своём супруге и обо всех мужчинах в целом.

Если разговор заходил о семейной жизни либо касался каким-то образом мужчин, она тут же встревала и резала правду-матку, делилась собственным опытом.

“Весь мужиковский род — кобели! — говаривала она, гоняя по полу швабру. Речь у неё была особенная, со словами подчас незнакомыми, но понятными по смыслу: — Среди мужиков токо пьяницы бывают верными. Остальные все гуляки. Вот мой Федяня пить пьёт, рюмку мимо себя не пропускает, но чтоб гульнуть — ни в жись. Он тверёзый-то баб побаивается, а пьяный совсем по этой части немоглый. Я за него спокойнёненька...”

В коллективе аптеки её рассуждения нравились, было в них что-то природное, живое, чем обмануться невозможно. А уж её иронический рецепт для “вылечки мужиков от кобелизма, а баб от гулянки с ними” нравился всем особенно.

“Лучшее лекарство от мужиковского блуда — коромысло, — говорила теть Шура, говорила с видом научного сотрудника, который выверил своё лекарство долгими опытами над пациентами. — Токо бить его надо не попере́к хребта. Иначе можно организм нарушить. А вдоль — самое то!.. Лучшее всего лечит!.. Поймала своего мужикашку с бабой — и давай его коромыслом. И для пущей вылечки — лучше при народе. Знай лупи его и добавляй уму-разуму...”

“А любовницу его как отвадить?” — для продолжения весёлого разговора подкидывал кто-нибудь вопрос теть Шуре.

“Ну-у, тут ещё проще... Трехлитровая банка зелёнки...”

“Куда столько много?”

“На башку свонной любовнице... Сзаду подходишь к ней незаметно — и на башку... Больше она с ним никогда не снюхается...”

Конечно, не по категоричным предписаниям теть Шуры, но каким-то образом семейный узел надо было разрубать и Тамаре. И не однажды с того дня, когда ненамеренно *застукала* она Спирина с гулящей заочницей, она готовила себя к разговору-развязке с ним: раскрыть с презрением карты, набраться самолюбия и уйти, хлопнув дверью (квартира к тому же его, делить нечего, койка в общежитии опять найдётся — на улице не оставят).

Но стоило Тамаре соприкоснуться с мужем, как непостижимым образом презрение её утрачивало всякую отвагу, а самолюбие покорно ложилось и умирало под невинным постоянством и обезоруживающей обходительностью Спирина. Желание объясниться пропадало, утолялось до будущих часов невесёлого, раздумного одиночества. Что за игру ведёт Спирин? Как можно делить себя на двоих? Сколько это будет продолжаться? Неужели у мужчин так принято?

...”Неужели бы и он поступал так же, если бы мы с ним сошлись?” — подумалось Тамаре, когда в пустой аптечный зальчик с пальмой в углу вошёл Олег, всегда подгадывающий время без посетителей.

— Ты что такая нахмуренная? Хмуриться очень вредно, — предостерегал Олег, замечая насупленную задумчивость Тамары. — Лицо должно быть открыто и расслабленно. Восточная медицина утверждает, что у тех, кто хмурится и держит мышцы лица в напряжении, часто болит голова.

— Голова у меня действительно болит... Только к восточной медицине это никак не относится, — уныло призналась Тамара и тут же спросила: — А как предлагает твоя восточная медицина лечиться? Что нужно сделать, чтобы голова не болела никогда?

— Самосовершенствоваться! Человек должен познать себя и построить себя сам! — убеждённо ответил Олег. — Кстати, я приглашаю тебя на наши занятия. В начале февраля мы открываем секцию в спорткомплексе. Ты познаешь другой мир, мир гармонии...

— Йога какая-нибудь?

— Не совсем. Приходи — увидишь.

От этого малозначительного, обыденного разговора в душе Тамары проклюнулось что-то новое, захватывающее, озорное; ей как будто кто-то посоветовал с умыслом: приглядишься-ка к Олегу позорче, он по-своему интересен, лицо мужественное, сложен прилично. Ведь когда-то он тебе нравился...

Да, было время, когда он не просто нравился Тамаре, — она была влюблена в него. Да, в нём не было искромётности, жаркого темперамента, но ведь и он мог, не замечая часов, говорить с Тамарой обо всём на свете. Да, они не ходили на концерты модных саксофонистов и не пили кофе по-турецки в модном ресторанчике “Грот”, но Олег был всегда к ней внимателен и честен... Главное — честен! И он, Олег, не сделал ей ничего плохого, не навредил. Просто в нём ей чего-то не доставало. Может быть, фейерверков, розовых фантиков? Конечно, она мечтала о рыцаре, а Олег тог-

да рыцарем ей не казался... Ну, теперь-то у неё есть рыцарь, от которого голова болит...

— Да, я, пожалуй, приду, — сказала Тамара и решительно подумала: «Если Спирин будет путаться с *той*, я стану подругой Олега. Олег этого хочет, я вижу... Да...»

— А муж тебя на занятия отпустит? Он у тебя не Отелло? — прощупывал Олег.

— Не Отелло. И вообще я не обязана во всё ему отчитываться!

Судя по тому, какая улыбка проступила на скуластом лице Олега, ответ ему пришёлся по сердцу.

Тамара смотрела Олегу вслед, подойдя к окну, где на стекле над рисованной чашей выгнулась символическая рисованная змея, похожая на Курдюмову, — смотрела прицельно и нехорошо, как на самца, с помощью которого сможет отомстить... Кому, кому отомстить-то? Спирина? Себе?.. Стало гадко на душе. Гадко от всей этой пошленькой истории с прелободением мужа, с блудом семейной студентки, с собственным выслеживанием этой парочки и появившимся эскизом мести с подходящим и милым приятелем Олегом.

В конце рабочего дня Тамара устало сдёрнула с головы шапочку, села на стул, пригорюнилась. Сидела долго.

— Чё домой не идёшь? — спрашивала её теть Шура, которая мыла пол.

— Не хочу, — коротко отвечала Тамара, через силу улыбаясь. Она вертела в руках обручальное кольцо, снятое с безымянного пальца. То ли руки пополнели, то ли отекли к вечеру, но след от кольца казался глубоким, надавленным.

6

Первая любовь — не та, платоническая, эфемерная, к приятному певчому мальчику Косте, а настоящая, с близостью, Тамару накрыла рано — относительно рано, в десятом выпускном классе.

В школьные годы Тамара ходила в несколько кружков сельского Дома культуры: то её захватывала живопись, и Тамара усердно рисовала голову Аполлона в кружке рисования, то она пела в многоголосом хоре, а дома пела перед зеркалом и дирижировала себе палочкой, то вертела на шесте кукол из папье-маше над ширмой в самодеятельном театре кукол.

Но однажды Тамара увидела в небольшом зеркальном фойе Дома культуры, как занимается вновь созданная студия балетников. Впервые увидела только что приехавшего из столицы руководителя Максима Анатольевича. Тамаре тут же захотелось постичь пластику танца, в порывистых па лететь по паркету в вихре латиноамериканской музыки...

Он, Максим Анатольевич, и стал для неё первой взрослой любовью, первым мужчиной. Только ради него — конечно, ради него! — она и записалась в студию балетных танцев. Ведь она тогда ходила в кукольный театр и играла там главные роли, а тут от всего отказалась, заявив, что в куклы досыта наигралась...

Позднее Тамара, сельская школьница, сгорала от стыда на медосмотрах, когда приходилось признаваться врачу, что уже не девственница, но втайне перед сверстницами была горда своей взрослостью и ранней любовью, которую на селе не одобряли, поскольку нравы и по сию пору «блюли»...

Тамара красиво, как настоящие танцовщицы, которых показывали по телевизору на балетных конкурсах, таяла в объятиях искушённого красотой движений Максима Анатольевича, — там, у него в комнате общежития, в углу на втором этаже рубленого дома, когда они танцевали вдвоём, танцевали медленные, упоительные танцы под музыку Франсиса Лея.

Максим Анатольевич числился молодым специалистом, окончил в подмосковных Химках институт культуры, безумно кичился этим и презирал сельскую жизнь, сельский Дом культуры и село, «эту дыру», куда угодил по «глупому контракту», который подsunул ему «тупица декан» и заставил подписать, иначе не даст диплом...

Оказавшись на первом занятии бальной студии, Тамара во все глаза смотрела на Максима Анатольевича, за каждым движением следила въедливо и восхищённо, и не только как за учителем — как за ослепительным мужчиной, высоким, стройным, со светлыми вьющимися длинными волосами, которые он стягивал резинкой в забавную косичку.

И вот счастье! На занятиях Тамаре не хватило мальчика, партнёра, и сам учитель стал ей временным партнёром. Она чувствовала его отточенные властные движения, его крепкие и вместе с тем нежные руки. Даже впоследствии, когда у Тамары появился закреплённый партнёр — очкастый мальчик с прыщиками на подбородке и бесцветной юношеской порослью под носом, — Максим Анатольевич, чтобы что-то продемонстрировать группе, выбирал Тамару. Она чувствовала, что нравится ему, и сама сториала от влечения к нему.

Как же она оказалась у него в комнате, в общежитии, в этом окраинном доме, построенном именно для приезжих специалистов? Он заманил её? Пожалуй, нет. Максим Анатольевич сказал ей, что может дать для ознакомления книгу по истории танцев. “Она у меня в общежитии, можем зайти после занятий”. Ура! Тамара вспыхнула от радостного волнения: нынче вечером она хоть ненадолго заглянет в загадочный мир настоящего артиста.

Правда, ничего особенного в этом мире Тамара не встретила. Там было всего лишь две достопримечательности: янтарного цвета лампочка в ночнике и сферические колонки импортного магнитофона. Под лиричную музыку оркестра Поля Мориа, стереозвуком заполнявшего комнату, в свете ночника с необычным оранжевым излучением он, Максим Анатольевич, просивший: “Тамара, зови меня просто Максом. Мы ж не на занятиях”, — он, Макс, учил её танцевать, куда класть и как держать голову, а после целовал её и расстёгивал трясущимися спешными пальцами пуговицы на её школьном платье (в студию Тамара приходила сразу после уроков).

Боль, неловкое положение на узкой кровати, шумное Максово дыхание и его слова: “Не бойся... никто не узнает... не бойся... ты красивая умная девочка... надо просто расслабиться...”; затем — разочарование от близости и странный, новый прилив нежности к учителю танцев, которого она могла наедине называть Максом.

У них было несколько трогательных встреч в этой комнате общежития, из которого Тамара уходила непременно в сумерках и так, чтобы никто не заметил... Но вскоре всё оборвалось. Максим Анатольевич сам нарывался на скандал с директором Дома культуры, чтобы смотаться из села. Нарвался, схлопотал выговор, был уволен и укатил из “дыры”, даже не простившись с Тамарой.

Узнав о его отъезде, она всю ночь проплакала; плакала в подушку, втихомолку, чтобы не услышали родные, чтобы не стали выпытывать всей правды. И следующую ночь она проплакала, но уже не столь душевно была следующая ночь... Студия бальных танцев распалась. Все другие кружки и секции Тамара тоже забросила.

А через год уехала из села, поступила в городе в фармацевтический техникум. Школьная жизнь кончилась, вместе с ней уплыли и томные чувства первой любви, поостыли воспоминания о Максе...

В дальнейшем Тамара вела себя более осмотрительно, вернее, не спешила бросаться в чьи-то объятия, ждала рыцаря всерьёз — единственного, избранного, как думалось, навсегда. Она даже некоторое время избегала всяческих увлечений, оттягивала их, запирала своё сердце, чтобы не растратиться, чтобы ещё раз не оказаться в роли брошенной влюблённой глупыхи.

“Да кто в этой роли не бывал!” — иногда говорила Тамара сама себе, зная интимные биографии своих сельских подруг и одноклассниц...

Впрочем, она ни капельки не жалела, что прошла любовное испытание с Максимом Анатольевичем. Неизбежное и трепетное испытание. Но только всепоглощающая любовь к Спирину с пробудившейся чувственностью могла оттенить прежнее и давала понять, насколько легкомысленны и ненадёжны были её симпатии к первому мужчине.

С работы Тамара пошла не домой. Туда, куда она собралась, идти было не близко, но она не воспользовалась трамваем, а направилась пешком — ей хотелось дать себе время на обдумывание. Хотя всё, казалось, и так было думано-передумано тысячи раз.

Вчера была оттепель — всё вокруг поразмякло, повлажнело, словно по городу прошёлся преждевременный ошибочный дождь. Вчера же в ночь, как бы одумавшись, приударил морозец, застудил ростепельную жижу, оставил гололёд. А на сегодня изменчивая, как девичье настроение, погода припасла снегопад: сухая свежая крупа покрывала город, маскировала ледяные коросты на тротуарах, и гололёд под белой наволочью становился ещё коварнее.

Тамара шла по припорошённому льду нетвёрдо, неровно, и думала странновато, не жалея себя: “Упаду — встану, не хрустальная. Если даже ногу подвину — выздоровею... А вот как любовь? Поднимется? Выздоровеет ли? Ведь это только кажется, что у большой любви сил много, всё одолеет. Наоборот, хрупкая она очень. Большая-то любовь даже маленькой трещинки боится. Даже от равнодушного взгляда страдает... А тут такое: он к другой ходит... Господи, дай мне силы!”

Снег падал ей на лицо, таял и вместе со слезами, которые тихо катились из её глаз, обжигал щеки посолоневшей влагою.

С этой влагою в мелких складках под глазами Тамара и переступила порог бабкилюшиного дома. Горе своё она принесла колдунье неспроста.

— Помоги мне, баб Люш. Люблю я его. Сильно люблю... Влезла эта бессовестная в нашу жизнь, испортит она нам её. У неё свой муж есть. Она так, для потехи. А мне всю жизнь поковеркает. Помоги, — просила Тамара, доверяясь бабке Люше, первой и единственной.

Старуха разглаживала свалывшуюся оборку своего изношенного фартука, занимая этим пустяшным делом руки, соболезненно слушала горемычный голос землячки.

— А чего ж ты ему, негоднику, баню не устроишь?

— Не могу я так, баб Люш. Не умею. Он тогда узнает, что я следила за ним. Пуще обозлится. Хуже бы не было, — всхлипывала Тамара.

— Погоди хныкать-то. Может, это его бывшая зазноба какая. Отойдёт, поди... Чё с мужика-то возьмёшь? Ему перебеситься время требуется. Из холостячкой вольницы да под каблук жены...

— Да какой уж у меня каблук-то, баб Люш! Я попереёк ему слово боюсь вымолвить.

— А это ты зря. К вольностям супружника не приучай! Испортишь, — наставляла старуха. — А может, напридумывала ты чего? Сама говоришь, муженёк-то твой от тебя не воротится. Значит, мила ты ему. А другая-то, выходит, пустяк.

— Что же я, как второсортная? Или умения у меня нет любить его? — негромко, только для себя, чтоб этих слов старуха и не слышала вовсе, возражала Тамара, и на все увещевания бабки Люши не подкупалась, умоляюще глядела в несостарившиеся остро-чёрные глаза на старом смуглом лице.

— Помоги, баб Люш. Истрадалась я. А ты можешь. Я ведь знаю, что можешь.

— Больно много ты знаешь! — вспыхнула бабка Люша, злым взглядом полоснула Тамару и отвернулась от неё.

Тамара враз притихла, всхлипы свои в груди задушила, сидела, как мышка напуганная, жалела о своём намёке на тёмную молву о бабке Люше.

В доме стало как-то особенно тихо, натянуто. Только негромко, но чётко и мерно стучал большой будильник на комод, да где-то, наверное, в печной трубе, на вышке, начинался едва заметный вой, — должно быть, ветер, заплутав, проваливался в дымоход. Но не столько была напряжённа тишина внешняя, сколько внутренняя. Тамара чувствовала, что где-то — вот он, близок! — излом: либо бабка Люша прогонит её, либо оделит чародейным средством.

А молва о бабке Люше шла разная. Было время, и всё село, и всю округу мутным облаком накрыли кривотолки, которые будто вечной чёрной ме-

той остались на репутации знахарки. Сильна дурная слава — как устойчивая, невыводимая ржа! У доброго дела иль подвига жизнь намного короче...

Худые слухи о бабке Люше простиралась издавека, когда бабка Люша и бабкой ещё не была... В годы, когда пришла ей пора расцвести вторым бабым цветом — в сорокалетие то есть — бабка Люша была однажды приглашена в соседнее село на людные именины. Там-то, на гулянке, за хмельным столом признакомилась она с молодым казистым кузнецом Григорием — человеком, впрочем, уже при семье, имеющим двух детей-малолеток.

Влюбился тот Григорий в Люшу сразу, шально, нетерпеливо, и во время той же гулянки под шумок сбежал с ней, с черноокой вдовой (муж Люши ещё задолго до этого угодил в тюрьму за приписки в лесхозе да с зоны не вернулся: не ли кокнули его там, то ли иссох в болезни). Словом, охмурила и увела Люша из-под самого носа у родной жены молодца Григория, которому ещё и тридцати не сравнялось.

Уже с этого момента и выросли ноги у разных толков: дескать, там ещё, на гулянке, подсыпала Люша Григорию в чарку колдовского зелья, а дальше молодец уж стал сам себе не принадлежащий...

Жена Григория, Анна, — молодуха, сердцем тоже горячая, в крик: “Ах, она стерва! Не отдам Гришу! Меня вон двое пацанов за юбку тянут...” — да мужа назад было, со скандалом, с треском, в законную семью. Тут Люша воспользовалась своими колдовскими талантами во второй раз. Заговором окрутила брошенную женушку Анну, зазвала её к себе в дом, напоила чаем, а может, и не чаем вовсе, а опять же зельем, а после посыпала ей дорогу — опять же по слухам — каким-то ведьминным средством. С молодухи Анны — вот чудо-то! — как рукой сняло всю любовь и все домогания к своему бывшему.

На бракоразводном суде Анна даже единой слезинки не пролила по нему, окаянному, хотя оставалась одна с двумя мальцами и вынуждена была съехать из дому, так как жила в свекровнином доме. А позже дело даже дальше зашло: дети перестали в Григории отца узнавать...

Однако свой злой дар пришлось Люше употребить и против самого Григория. Ярко вспыхнул он негаданной любовью, да вскорости и прогорел: через пару лет житья на чужой стороне стал он тяготиться “пожилой” сожительницей своей и однажды сказал в запале:

“Шабаш, пожил!”

По этому поводу слухи шли таковы, что действие зелья Люши хватило только на два года, а почему она Григория снова полюбовно не приворожила — загадка: истинно уж, чужая душа — потёмки.

“Шабаш так шабаш”, — не супротивилась Люша, но глазами резанула своего неверного, а напоследок-то вместо любовного напитка напоила каким-то злодейским настоем и напрочь обессилила Григория по мужской части...

И год прошёл после этого, и два прошло, и три, а никто Люшинуто snadобью противоядие не подобрал. Григорий к тому же на Север на заработки подался, там стал сильно пить, обрюзг, опустился — так и прожил свой недолгий век в одиночестве, время от времени находя утеху в кузнечном ремесле и неизменно — в стакане водки.

...Долго бабка Люша сидела насупившись, молча, боком к просительнице: видать, шибко ранили её намёки на прежний чёрный грех.

— Тебя ещё тогда и на земле-то не было, а ты, вишь, тоже знаешь! — наконец, сказала старуха в раздражении. — У людей язык без костей, мелют чего попало... А вот знаешь ли ты, была ли счастливой-то я? Погналась за счастьем-то сломя голову. Голову и сломала. Глядишь, не гонялась бы — счастлива бы и была.

Старуха поднялась с табуретки, оправила головной платок, искоса посмотрела на Тамару всё ещё колючим непрощающим взглядом. А у Тамары в глазах по-прежнему — заискивание и мольба. Тут, вероятно, бабка Люша рассудила так: тогда она семью разбила, а теперь ей предлагают семью спасти — дело не худое, зачтётся, коли Бог есть (икону в красном углу бабка Люша держала).

— Ладно, — шепнула она.

У Тамары — гора с плеч.

Вскоре бабка Люша принесла из кухоньки, что была отгорожена от горницы печкой и занавеской, сложенный конусом газетный свёрток, в нем — серая крупная соль.

— Вот, — сказала она. — Ручку дверей, где его полюбовница живёт, натрёшь этой солью. Потом три щепотки перед порогом сыпнёшь. Чтобы она эту соль на подошвах в дом занесла... А остатки соли в землю зарой, подальше... Да так, чтоб не знал никто! — Позже прибавила, глядя в испуганно-счастливые глаза Тамары: — Поможет, если всё верно выполнишь. Языком, главное, не болтай.

— Да разве я? Да неужели я... после такого? Я в долгу не останусь, — заикаясь, стала благодарить Тамара.

— Хватит! — слов благодарности бабка Люша слушать не хотела. Скороенько выпроводила Тамару, попрощалась сухо. — Чтоб знать никто не знал! — наказала ещё раз. — Да сама-то поумней будь. Поглядывай за мужиком своим. Изба веником метётся, мужик бабою ведётся...

Уже на улице, пройдя чуть ли не квартал, Тамара спохватилась: она забыла узнать у колдуньи, куда сыпать соль и какую дверную ручку натирать, ведь Курдюмова из Ясногорска? Ехать туда, что ли? Но возвращаться к бабке Люше она не посмела, даже суеверно убоялась повернуть голову назад, оглянуться.

Бережно, словно какой-то драгоценный золотой песок, а не серую соль, несла Тамара кулёчек в своей сумочке, боялась сумочку потрясти, в трамвае избегала толкучки. Однако чем ближе была к своему дому, тем меньше уповала на волшебный кулёчек с солью: “Насильно мил не будешь. Отважу эту студентку, отгону, а любовь-то Спирина где? На привязи его держать? Где уж тут счастье-то?”

Нет, кулёчек не избавил её от сомнений — опять на душе делалось темно и тоскливо, как в кладовке без окон, когда там гасят свет уходя...

* * *

Спирин был дома. Сидел на диване, смотрел по телевизору хоккей (это было одно из его мужских увлечений) и пил из большой деревянной кружки пиво, закусывая сушёными окунями. После нескольких неминуемых дежурных фраз Тамара устало навалилась на косяк в дверном проёме, сбоку наблюдая за мужем, — и с чувством любви, и с чувством какой-то практической невозможности этой любви, словно впереди надвигалась разлука.

— Ты чего, лапа? — повернулся к ней Спирин: он, видимо, почувствовал на себе её долгий взгляд.

— Я так, ничего, задумалась что-то, — смутилась Тамара.

— Иди ко мне, лапа. Посидим. “Спартак” всё равно проиграл, я уже не смотрю.

Тамара сначала не поняла его слов, как будто не могла уже рассчитывать на законную нежность живущего с ней мужчины. Замешкалась. Как она бывала счастлива ещё недавно, когда Спирин звал её к себе! Она переставала ощущать себя в его взгляде, в его тепле, в его шёпоте!

— Ты почему такая грустная? — спросил он, усаживая её к себе на колени, и, не дожидаясь ответа, заговорил обобщённо: — Человек — удивительно неустойчивая система. Поднимется не с той ноги, и любая ерунда может стать причиной для огорчения... Ты сегодня тоже не с той ноги встала? — Он опять спросил, но ответ, казалось, ему опять не был нужен. — Интересно получается: лапа встала не с той лапы, — рассмеялся Спирин. — Пивка, лап, хочешь? С рыбкай? Отлично...

Он подносил к её рту маленькие ломтики солёной рыбы, она брала их губами и запивала прохладным пивом, которое всегда недолго любила из-за горькости, но сегодняшнее, одобренное ласковостью Спирина, почти не горчило. Он улыбался ей, омывая её тёплой голубизной своих глаз, и Тамара отмякла, сиюминутная радость разряжала нервную издёрганность последних дней.

— Скажи мне, Спириин, — ластясь к нему, заговорила Тамара. — Мужчины часто обманывают женщин?

— Что за намёки! — усмехнулся он. — Умный мужчина никогда не будет обманывать женщину.

— Стало быть, ты мне всегда говоришь только правду?

— Какие сомнения! — решительно парировал Спириин. — Конечно! Я всем говорю только правду. Другое дело, что у всякой правды есть свои ограничители... Всей правды даже прокурор не должен знать... Если бы преступник, — Спириин любил приводить примеры, ассоциации с правовым уклоном, недаром преподавал на юридическом факультете: — Так вот, если бы преступники не ограничивали правду о своих преступлениях и своих намерениях на допросах у прокурора или следователя, они бы значительно дольше сидели в тюрьме... Правда, истина — категория особенная, — начинал философствовать Спириин. — Пушкин, к примеру, говорил в таком роде: когда я представляю себя перед Богом, то чувствую подлость в каждой своей поджилке... И это гениальный Пушкин! А уж куда нам, обычным людишкам?

— Ты просто мастер выкручиваться! — рассмеялась Тамара.

— Да нет же! — сопротивлялся Спириин. — У меня просто есть свой кодекс.

— Скажи хотя бы одну статью из этого кодекса.

— Пожалуйста! Это русская народная поговорка: свою жену весь век люби, весь век с ней живи, но всей правды никогда не сказывай...

— Хитрец! — сказала Тамара и больше не пробовала проникать к нему в душу. Да и не нужно! Ведь Спириин этим вечером был с ней таким добрым, таким домашним, таким *Тамариным* и, казалось, таким беззащитным перед распущенностью Курдюмовой.

“Не отдам! — мысленно твердила Тамара своей сопернице в этот вечер. — Ни за что его не отдам. Нет!”

Поздно вечером Тамаре позвонила Софья. У неё продолжалась и без того бесконечная бессонница, и она просила посоветовать для покупки какое-нибудь снотворное, а лучше всего — прийти к Софье в гости со снотворным.

Разговор и вовсе был бы обыкновенным, если бы Тамара вдруг не спросила Софью (Спириин, понятное дело, этого разговора не слышал):

— Если ты боишься экстрасенсов и магов, тогда сходи к бабке. Бабкам, лекарякам, ты доверяешь?

— Бабкам-то я доверяю. Да только тех, кто умел по-настоящему лечить, уже на свете нет.

— Есть, — сказала Тамара. — Только я сперва на себе хочу проверить её силу. А потом и тебя к ней сводить.

Софья обрадовалась, но вскоре разговор принял иной оборот:

— По правде сказать, — мягкий голос Софьи, умевшей говорить по телефону по часу, лился в наушник, — главное, не лекарство, а психология. Ты, помнишь, Тамарочка, как я курила. Целую пачку в день. Я же вся пропахла никотином. Фу-у!.. И чего только я не перепробовала! Таблетки, антиникотиновые жвачки. Даже кодирование, стыдно признаться. А что, думаешь, помогло?

— Что? — слегка позевывая, поторапливала Тамара.

— Книжка. Художественная литература. Я и автора-то не помню. Но воздействие оказалось целительным... Там, знаешь, что главное? Главное — собраться с духом и переменить ход. Это как в шахматах — один ход, и вся позиция на доске совсем другая... Там, в той книжке, она импортная какая-то, я даже имён героев не запомнила. Грета, кажется... И эта Грета, девушка-бесприданница, встречалась со своим возлюбленным и надеялась выйти за него замуж. А он всё медлил и медлил... Она бегала к нему на свидания, мучилась, ждала его, была покорной. Но как-то раз сказала себе: “Стоп, деточка!” И не пошла на свидание. А потом врезала ему, своему жениху пощечину, когда он стал накачивать на неё...

— Чем же всё кончилось?

— Она вышла замуж за какого-то офицера, была счастлива и нарожала ему уйму детей... Но дело не в этом. Когда она отвергла своего ухажёра, у неё словно пелена с глаз упала. Всего один ход — и картина совсем другая. Главное — ход должен идти вразрез... Ну, так что, ты завтра придёшь ко мне в гости? С таблетками, разумеется.

— Нет, — усмехнулась Тамара. — Нет, не приду. Я сделаю ход вразрез... Я завтра уезжаю в командировку на целый день и вернусь поздно...

Прежде чем лечь спать, Тамара позвонила в справочную службу города и узнала, когда отправляется первый автобус до Ясногорска.

8

За окном междугородного автобуса — поле. Пустынно и снежно это поле, и скользит по нему взгляд почти без запинки, только на бугорке, точно на волне, колыхнётся. Даль за полем сумеречна, синевата, должно быть, там леса, дремучесть, но разглядеть её покуда трудно: солнце взялось лишь жёлтой краюшкой обочь поля — не разгорелось, не разалелось среди надгоризонтной мутной хмари. Рано.

“Куда это ты ни свет ни заря?” — удивился Спирин, когда Тамара поднялась в сонные утренние потёмки.

“Мне сегодня нужно на базу за товаром. Пораньше просили, — ответила она. — И вечером я приду поздно”.

“А вечером куда?”

“Мне надо к девчонке одной, мы учились вместе”.

“Хорошо, что не к мальчишке”, — зевая, пошутил Спирин, хотя *так-то* шутить в его положении, казалось бы, не следовало.

...“Да чёрт знает, что у него за положение”, — думает Тамара, обмеряя взглядом огромный белый клин, бегущий ближним краем под колёса автобуса. На пассажиров она старается не смотреть: вдруг кто-то опознает — и раскроется её тайная вылазка в Ясногорск.

В сумочке у Тамары — заговорённая соль, соль — надежда и причина поездки. “Почему я должна страдать? — мысленно оправдывает Тамара своё запланированное шаманство. — У неё свой муж есть. Пусть его любит...”

Плывёт в утренней дымке, подкрашенной желтизной раннего солнца, мимо окон поле. Украдкой вздыхает Тамара: “Муж... Любовь...” — и вспоминается ей жизнь дозамужняя, когда ни Спирина, ни любви не было — обузы этой... когда вольно ей было, как ветру над белой огромностью поля. Первый раз искренне пожалела она, что замуж вышла... Ехала и вспоминала родной дом, мать, село, что раскинулось над рекой Волгой близ Костромы.

Как тогда счастливо жилось!

Может быть, светлая мечта для человека и ожидание счастья и есть самое важное в жизни. А мечтаний и ожиданий счастья в ту пору было так много! И главное — эти мечты ещё никто не мог опровергнуть!

...А ведь жилось тогда на самом деле нелегко, бедно. Мать рано овдовела, а Тамара и Юрка, младший брат, после преждевременной кончины отца стали полусиротами. И если Тамара отца ещё помнила, то Юрка его почти не запомнил и никогда не вспоминал. Мать работала, не покладая рук, и Тамара, видя её усталую, разбитую, очень жалела, взваливала на себя хозяйскую женскую мороку. Но, пожалуй, больше всего она жалела — до боли в сердце жалела — младшего брата.

Считая себя взрослой, она вела за братцем пригляд и всё сокрушалась: ведь Юрка — мальчишка, худо ему без отца; да и рассеянный он какой-то, хоть и добрый, но разболтанный: печь, бывало, затопит, а вьюшку открыть забудет; дым в доме — закашляется, глаза от слёз блестят, трёт их кулачками, печку ругает...

Или, бывало, Тамара на сэкономленные деньги — по копейке собирала — купит ему в подарок альбом для рисования и акварельные краски, а Юрка в тот же день за один вечер изрисует весь альбом от корки до корки, всё какие-то пушки, pistolеты, танки — посмотреть не на что. Тамаре жалко денег, отданных за альбом, а альбом-то уж и кончился, но Юрку она

никогда не упрекала за такое искусство, да и запах акварельных красок ей самой очень нравился, сама любила рисовать, в район на выставки художественные ездила...

А однажды под ответственность и под полное опеку Тамары удалось взять Юрку в школьную туристическую группу в поездку на теплоходе по Волге — от Костромы до Волгограда. Какая красота была! Даже ночью спать совсем не хотелось. Тамара любовалась рекой, не смыкала глаз и не отрывалась от иллюминатора (ехали в третьем классе, в трюме, там не окна — иллюминаторы). А главное Юрка — как он ликовал, говорил, что обязательно станет моряком.

На судне Юрка познакомился и подружился с каким-то черноголовым курчавым мальчишкой, — оказалось, цыганёнок, едет с табором куда-то под Астрахань. Тамара глаз с брата не спускала, боялась: вдруг цыгане заманят, околдуют доверчивого паренька, украдкой увезут с собой “в рабство”... Но ещё тогда, давно, на том незабвенном судне, когда зорко следила за братом, Тамара думала о будущем: вот бы родить сына, ухаживать за ним, приглядывать... Сына бы она воспитала не так, как Юрку. Юрка, хоть и незлобивый, честный, но уж больно не собранный и учится с “тройки” на “двойку”, а у неё бы сынок учился только на “отлично”.

Юрка теперь служит в армии, он уж совсем мужчина. Когда он уходил в армию, Тамара расплакалась, будто и не младшего брата отправляет в рекруты на далёкую чужую сторону, а единственного сына...

На проводинах интересный случай был: Юрка сказал своей девчонке, с которой дружил последние годы: “Ты меня не жди. Нечего мучиться, гуляй, сколько хочешь. Я всё равно жениться не собираюсь. Я вообще жениться не хочу!” Рисовался, конечно, храбрился по молодости: жениться он не хочет! Женится — никуда не денется...

Так раздумывала Тамара, чередуя далёкие картины жизни с ближними. А что? Ведь заявка Юрки не так уж глупа. Вот и Софья живёт одна, замуж даже ни разу не выходила. А когда её подруги и родственники начинают ныть: “Соня, чего ты замуж не выходишь? Тяжело одной жить. Как нам тебя жалко!”, — Софья взрывается и в штыки: “Глупые! Вы себя пожалейте! Себя! Одиночество — это просвет для женщины...” И те, разумеется, не правы, кто хочет Софью насильно сосватать, и в рассуждениях Софьи есть какой-то изъян, есть...

И тут Тамара спросила саму себя: а что, если бы повторилась её ситуация? Пошла бы она замуж за Спирина? Наверное, ещё бы подумала. Не кинулась бы так — словно в омут. Может быть, и не пошла бы... Но от его любви не отказалась бы. Нагулялась бы с ним вволюшку, как его студенточка... Ах, как нелепо, вздорно всё это!

Много разных дум передумала Тамара в дороге, много переверосила воспоминаний. Но надо всем висела одна забота.

* * *

Найти улицу Дружбы в Ясногорске трудов не составило: улица — в самом центре. Но в дом номер девять Тамара сразу не пошла: духу с первого подхода не хватило, решила присмотреться, взглядом отыскать окна курдюмовской квартиры.

Дом старинный, дохрущевской эпохи, с высокими большими окнами, по фасаду — венки и girлянды лепнины. “Вот эти”, — вычислила Тамара несколько окон в третьем этаже и, мысленно раздёрнув гардины в окнах, осмотрела меблировку курдюмовского жилья. Вернее, здесь, на тротуаре под окнами, которые магнитили её скрытый взгляд, она поверила своей версии о достатке Курдюмовых. Подумала: “С жиру она бесится...” Словно если бы Курдюмовы жили в бараке или в деревянной избе, то у Курдюмовой было бы больше притязаний на разгульную жизнь, на чужого Спирина... “Чего ей не хватает, гадине?” Мысли эти придали ей решимости.

Вскоре Тамара оказалась в сумраке нужного подъезда. Ступала на ступени лестницы носочками, чтобы не разбудить гулкой пустоты, робела, даже вслушивалась в шорохи своей одежды. Она поднялась на третий этаж, тихо-нечко расстегнула сумочку, нащупала рукой соль в старой и оттого бесшумной газете, взяла горсть. И уже лишние крупинки нечаянно полились дробью на кафельные квадраты пола, как вдруг дверь, что напротив курдюмовской, отворилась.

На площадку вышел высокий пожилой человек в бушлате воинского кроя и офицерской шапке со следом от кокарды, — вероятно, из отставников, — с детскими санками в руках. У него было продолговатое лицо, седые мохнатые брови и седые мохнатые усы; во рту дымилась только что прикуренная папироса. Следом за ним — в чёрной шубке, в чёрной, в форме шлема, шапке и коротких новеньких валенках — вышел малыш, который, казалось, и не вышел, а выкатился колом, ибо зимняя толстая одежда придавала ему некую округлость, с которой вполне сочеталось его щекастое лицо.

И отставник, и малыш, появившиеся столь не ко времени, вопросительно воззрились на Тамару.

Тамара упрятала свой стиснутый кулачок с солью в карман, а другой рукой надавила на кнопку звонка курдюмовской квартиры.

— Вам кого трэба? — тут же спросил сосед, выдернув изо рта папиросу.

— Мне Курдюмовых, — волнуясь ответила Тамара. — Светлану Викторовну, — прибавила для убедительности, зная, что это безопасно.

— Нэма её сеходня. На экзаменах она в областном хороде, — по-южному размячая в словах “г”, объяснял отставник. — А вы хто будете?

— Я?.. Я из страховой компании, — соврала Тамара.

— Вам тогда с Хеннадием надо повстречаться, с мужем её. Он туточки в соседнем доме работает, там мастерская по ремонту аппаратуры... А это сын их, Кирилл. Со мной днюет, покеда мать в отъезде, — указал он на выступившего вперёд малыша.

Тамара посмотрела на малыша и на мгновение оцепенела: он остро, больно напомнил ей глазами свою мать: такие же тёмные, большие, как на студенческой карточке Курдюмовой. Особенно поразила её некоторая задирность в мальшвом взгляде: что за гостья тут к нам?

— Когда она приедет? Не знаете? — обратилась Тамара к соседу, чтобы скрыть свою растерянность, не затянуть молчание, не сделать его подзрительным.

— Послезавтра прибудэт... Да вы с Хеннадием переховорите. Тут рядом. Он хлавный там, директором в мастерской.

— Хорошо, я зайду, — быстро ответила Тамара, скользнула осторожным взглядом по пытливому толстому лицу Курдюмова-младшего и пошла по лестнице вниз.

Сорвалось! Как всё по-дурачки сорвалось! Хотелось взвыть от отчаяния.

— Можэ, проводить вас? — окликнули её сверху.

— Нет-нет, спасибо. Я сама найду, — отозвалась Тамара и, чтобы не попасть под опеку услужливого отставника с воспитанником, ускорила шаги.

Во дворе дома лежала тень — холодная, гнетущая, чуждая тень... И всё вокруг было чужим: этот дом, эти строения незнакомого города с дымной трубой на горизонте, эти отгаливающие своей зимней омертвелостью деревья, эти заснеженные скамейки, на которых следы чьих-то ног, эти вороны на проводах, этот воздух, наконец, жизнь семьи Курдюмовых, в которую Тамару угораздило впутаться.

Тамара даже сама себе показалась чужой, она как бы увидела себя со стороны и ужаснулась: зачем она здесь? ради кого? ради чего? Ей было сейчас очень горько, хотелось вышвырнуть приподно эту беспомощную соль, которую подсунула ей бабка Люша, хотелось со всего размаху ударить Спирина сумочкой по лицу, а потом убежать от всего и от всех куда-нибудь подальше, лучше — в своё село, спрятаться там где-нибудь в запечке...

Солнце вырвалось из-за угла и отсекло тень, но не просветлило душу. И горечь обиды вдруг заговорила в Тамаре дерзким, норовистым бабьим голосом, наущая: “К нему иди! Ей смеяться, а тебе страдать?.. Понадежнее со-

ли будет. Пусть знает! Пусть следит!” Задумка эта вынашивалась у Тамары уже давненько, но действенный черёд её наступил только сейчас, подстёгнутый её обозлённостью.

Без особой решимости, но и без колебаний Тамара вошла в мастерскую, где царил канифольно-пластмассовый запах, а повсюду на столах и полках расположились мониторы, пыльные внутренности вскрытых телевизоров и синяя рябь экранов.

— Можно? — спросила Тамара, приотворив обитую кожей дверь с директорской табличкой. (Секретарша в небольшой приёмной, когда к ней обратилась Тамара с вопросом, может ли она увидеть директора, ничего не ответила, занятая работой на компьютере, а только кивнула на эту дверь.) — Можно? — ещё раз, поубедительнее повторила Тамара.

— Зайдите!

Человек, сидевший за столом, разговаривал по телефону и что-то чёркал на листе бумаги. Он вялым неприветливым кивком указал на стул, не промолвив по адресу посетительницы даже ответного “здрасьте”.

У Тамары выдалось время разглядеть хозяина кабинета, невольно слить его черты с недавно встреченным малышом. У него был мягкий круглый овал лица со штрихом двойного подбородка, красноватый крупный нос и небольшие, неулыбчивые губы; волосы — откровенно рыжие — мелкими волнами утекали назад от высокого открытого лба и наметившихся залысин; на толстых веснушчатых руках — золотистая поросль. То, что галстук на шее у него был бесцеремонно ослаблен, что, невзирая на посетительницу, он говорил по телефону с руганью: “Скотина он, а не депутат!..” — и то, что на столе у него стоял дорогой письменный прибор с Кремлём в миниатюре, давало какое-то основание считать его человеком с администраторской хваткой и властолюбивым нравом.

Когда телефонный разговор закончился, хозяин кабинета перестал пачкать лист, и глаза его без любопытства остановились на посетительнице.

— Что у вас? — скучно спросил он.

— Вы Курдюмов? — произнесла Тамара тихим голосом.

Выдержав паузу, хозяин кабинета ответил:

— Да. — Некоторая тревога проступила на его лице: он, вероятно, почувствовал, что посетительница не из привычных жалобщиков-клиентов, которые ходят с попреками, обижаясь на работу мастеров и качество ремонта.

В дверь кабинета тем временем без стука и приличествующих слов вошёл длинный патлатый парень в синем халате с надорванным карманом, из которого торчала отвёртка, заговорил на ходу, протягивая Курдюмову какую-то бумагу.

— Этих деталей, Геннадий Сергеевич, на складе нет. Пусть они сами достают, я им не обязан... Их надо в Германии заказывать...

— Уйди! — негромко, но грубо пресёк его Курдюмов. — Занят. Не видишь?

Парень на полшаге остановился, перепуганно покосился на Тамару, а через секунду его как ветром сдуло. Директор, видать, с подчинёнными не цацкался. “Что же вы так жену-то распустили? С ними вы вон какой”, — мысленно укорила Тамара Курдюмова, который смотрел на неё уже и раздражённо, и недоверчиво.

— Вы жена нашего уволенного шофёра? — быстро спросил Курдюмов и, казалось, очень хотел, чтобы ему ответили утвердительно.

— Нет, — покачала головой Тамара и замолчала. У неё было ощущение, что придётся сейчас сообщить ему о смерти близкого родственника... — Я приехала из-за вашей жены, — наконец сказала она.

— Что с ней? — встрепенулся Курдюмов.

— Нет, вы не беспокойтесь, с ней ничего не случилось, всё в порядке, — поспешно ответила Тамара, но споткнулась: — Вернее, я не так сказала... — Она опять помедлила. — Она у вас очень хорошая, наверно. Красивая, видная... Но, видите ли...

— Да чего вы быка за хвост тянете? — поторопил Курдюмов.

— Мне бы хотелось, чтобы она перестала учиться в университете.

— Что? С чего это вдруг?

— Я не против её учебы вообще. Мне бы не хотелось, чтобы она училась в том университете, где преподает мой муж.

После этих слов в кабинете как-то враз ощутилась духота, почувствовался кислородный запах канифоли и припоя. Курдюмов сидел неподвижно, взгляд его шатался по столу. Может быть, Курдюмов что-то искал, хотел на чём-то сосредоточиться.

— Как это понимать? — вдруг выкрикнул он. — Что за намёки?

Тамара вздохнула, виновато склонила голову:

— Я хочу повторить только одно... Вы поймите меня правильно... У вас семья, ребёнок... Я не хочу, чтобы мой муж мог помешать вам... И не хочу, чтобы ваша жена мешала мне... — прерывисто говорила Тамара.

Ей было жаль себя, очень жаль себя, униженную, обманутую мужем, с которым и пожилась-то ещё не более полугода, но уже через минуту разговора ей стало ещё больше жаль того, кому она *открывала глаза*...

Курдюмов уже не выглядел ни полнотельным, ни самовластным: он словно сдал, осунулся: вылиняла румяность его лица, толстая шея одрябла, стыдливо сузились и впали глаза... Его как будто проткнули, как шарик, и выпустили из него и здоровье, и гонор.

— У них что-то серьёзное? — тихо, стыдливо спросил Курдюмов.

У Тамары хватило разума и снисхождения к этому человеку, вернее, она вспомнила того малыша, толстощёкого Кирилла, сына Курдюмовых, и пожалела его:

— Думаю, что нет... Если бы у них что-то было серьёзное, я бы не приехала предупредить... — И вдруг добавила для утвердительности: — Я бы ушла от него...

— Понятно, — тяжело шепнул Курдюмов.

Тамара поднялась со стула, чувствуя, что лишних вопросов-расспросов от Курдюмова ей не нужно. Курдюмов тоже встал. Опершись кулаками на свой стол, выглядел суровым, набыченным.

— Извините меня, — сказала Тамара. — Извините, пожалуйста. — Она пошла к выходу, но прежде, чем уйти, обернулась: — Я очень прошу вас: никому не говорите, что я приезжала. Мне кажется, если никто не узнает о нашем разговоре, всем будет лучше... Обещайте мне.

Он молчал, как будто не слышал. Стоял всё в том же окаменении.

— Обещайте мне! — потребовала Тамара.

— Не беспокойтесь: я вам обещаю, — устало ответил Курдюмов, не поднимая на неё глаз.

— У вашей квартиры я встретила соседа, из квартиры напротив. Мне пришлось сказать, что я из страховой компании... Извините меня.

— Постойте... — остановил её Курдюмов. Тамара встретила с ним глазами и внутренне содрогнулась: в его глазах застыл стыд и вместе с тем готовность бороться против этого стыда, который навесила на него Тамара. — Ладно, я сам во всём разберусь... — отказался он от каких-то намерений.

В это время на столе зазвенел телефон. Курдюмов не потянулся к трубке. Так Тамара и оставила его одного — со звонками бессердечного телефона.

От мастерской, от дома номер девять она шагала быстро, торопилась на автостанцию. Ей хотелось поскорее уехать из Ясногорска, проклясть и навсегда забыть всю чертовщину этой поездки. Быстрей! Не опоздать бы на ближайший автобус!

О! нет, жизнь умнее и злее, чем люди думают о ней! Солью, видите ли, она хотела вытравить измену, а на тебе средство получше, поверней — муж Курдюмовой! Он свою жену в бараний рог свернёт, только намекни... О господи, не переборщила ли она, явившись в Курдюмову?!

Успокоение и оправдание, однако ж, было: всё-таки “не выдала” Светлану Курдюмову подчистую, ничего “лишнего” не сказала, только, мол, так у них, друг другу глазки строят; сработала бабья солидарность...

В автобусе Тамара старалась поспать. Но бесполезно: не приходили ти-

хие ровные мысли, хотя за окном было всё то же поле, даль снежная. Всё было гладко и мирно. Да только у людей в жизни так не бывает...

9

Наступил февраль, и в полдень уже теплело: ледяной частокол сосулек, угрожающе свисающий с карнизов, то ли горько, то ли счастливо плакал; черно и влажно отблёскивал после студёной седины асфальт; молодое солнышко, точно безустанная модница, гляделось в зеркало окон. Но ранние часы отличались крепкими утренниками: в накипь изморози белились деревья, с паром говорили и дышали люди, каткие застывшие лужи утишали резвость идущих на занятия школьников.

По вечерам тоже настаивался холод. И нынче вечером — не в исключение: с потёмками прихватило, морозными точками вызвездилось небо, затянуло узорчатым ледком отпотевшие, было, днём витрины, у людей — пар изо рта.

Волосы у Тамары обметало белизной инея — тонкими сахарными проводочками жались они в завитке, выбившемся из-под шапки; крохотные капли серебра от загустевшего в студёном воздухе дыхания держались и на бровях. Сама Тамара этого не видела, но эти тонкости мог подметить Олег, который шёл рядом. Он много говорил, словно в проталины молчания утекала приятность сегодняшнего вечера.

Сегодня вечером они слушали лекции “гуру” — тренера по имени Лу — морщинистого желтолицего человека, говорившего с восточным акцентом, а после лекции были на занятиях восточной гимнастики.

“Человек сам по себе — система очень совершенная. В нём заложены природой огромные силы. Но человек часто слеп и не знает пути к этим великим силам, — вещал тренер Лу, которого его приближённые называли почтительно и весомо Учитель. — Моя задача — помочь вам найти свой источник внутренней энергии. Родник силы и вдохновения... У русских есть поговорка: в здоровом теле — здоровый дух. Это правильная поговорка. Крепкие мышцы, очищенный от шлаков организм не позволят сломать нервную систему... Надо воспитать тело, чтобы тело воспитало душу. Из-за большого тела больна и душа...”

Лекцию Тамара слушала невнимательно, ей было не интересно слушать этого человека, ей казалось, что она все это уже слышала от кого-то. Всё это банальные, избитые истины. Кушайте морковь и свёклу, и у вас будет хорошо работать кишечник. А если будет хорошо работать желудочно-кишечный тракт, то и жизнь наладится... Нет, человек зависим не только сам от себя. Если бы всё было в его руках, жизнь стала бы другой. Человек передаёт часть себя кому-то другому, тому, кого любит.

Иногда Тамара разглядывала людей в зале, собравшихся на лекцию. В основном это были женщины, которые были старше Тамары. Они, видать, уже хлебнули лиха... Что их погнало искать покой и здоровье у восточных вещателей? Несчастливая любовь? Болезни?

Она понаблюдала за женщиной, которая усердно что-то записывала в блокнот, вероятно, изречения учителя Лу. Эту женщину, наверняка, пригнали сюда болезни. Блокнот с цитатами для лекарства от любви не подходит... А вот эта женщина явно страдает от каких-то душевных переживаний: сидит сгорбившись, лицо кулаками подпирает и тоже, как она, не слушает. А эта ищет здесь рецепт красоты. Каждая хочет быть красивей, чем есть... А в общем-то, очень-очень красивых женщин мало. Все остальные просто красивые... А вот та дамочка хочет общества, компании, а возможно, хочет приглядеть себе здесь пару. И уж совсем не уму-разуму научиться...

Когда одна из слушательниц задала вопрос “гуру” о любви: дескать, рационалом питания управлять можно, а вот в чувствах можно и запутаться, — учитель Лу быстро нашёлся с ответом:

“В первую очередь, у человека должна быть любовь к самому себе. То, что называется здоровым эгоизмом... Надо полюбить себя так, чтобы потом

не путаться “в любовях”, ни в чём не раскаиваться и не зависеть от любви и прихотей другого человека. Любовь к себе должна быть выше любви к другому человеку, тогда и собственная жизнь будет ценнее и независимее...”

Восточный мудрец витиевато, но вполне направленно объяснял собравшимся сущность любви.

“Возлюби сам себя настолько, чтобы проявления любви к другому было проявлением любви к самому себе. Чтобы было почётно любить другого, чтобы это возвышало вас в собственных глазах... Я вам отдаю свои знания и люблю себя за это. А воспользуетесь вы ими или нет — ваше право, оно меня не касается...”

Время от времени Тамара чувствовала на себе взгляд Олега, а иной раз он трогал её за локоть, невинно, как бы произвольно брал её за руку, что-то шептал ей в качестве комментария к словам восточного мудреца Лу.

Эх, Олег, Олег! Ещё несколько лет назад он говорил подобное. Всё хотел обратить Тамару в свою веру, звал в походы, советовал поступить учиться хотя бы на учителя географии, приносил какие-то мудрёные книжки про карму; он, казалось, совсем не чувствовал, что Тамаре нужно... Ей хотелось любви, счастья, а он мечтал о новом рюкзаке, звал куда-то на Алтайские горы, туда, где он вырос, где у него родина, дом... Стоп! А разве нет счастья в путешествии, в самосовершенствовании? Конечно, есть... Олег просто неисклющённый человек и не знает, как *правильно* обходиться с женщинами.

Вот Спириин чётко знает, чего хочет женщина: неспроста выдал как-то ещё одну из своих мужских заповедей: “Если мужчине нравится женщина, и он её хочет, он должен делать всё, чтобы понравиться ей и чтобы она ему не отказала”.

Олег, конечно, жил и живёт по другим принципам. Он и за Тамарой ухаживал как-то неумело, не добивался её всеми возможными и невозможными способами. Он, казалось, хотел, чтобы она стала ему сперва другом, соратником, а потом? А потом можно и жениться честь по чести и вместе, именно вместе решать все трудности на жизненном пути...

В своих мыслях Тамара почувствовала некоторую иронию и тут же себя осадил: напрасно она так приземлённо думает об Олеге. Он влюблён в горы, в работу, в путешествия, стало быть, и в женщину способен возвышенно влюбиться...

После лекции, уже в спортивном зале, начались упражнения по восточной системе. Эти упражнения, позы лотоса Тамару тоже не развлекли и не вдохновили. Но она не подавала вида. И теперь тоже не высказывала своего мнения, когда возвращались с Олегом с экзотических занятий.

— Этой гимнастикой можно заниматься в любом возрасте. В том и преимуществе восточных систем, что для них безразличны годы... Конечно, одна, две, десять тренировок результатов не дадут, но сто тренировок... Ты почувствуешь себя другим человеком! — убеждал Олег.

— Посмотрим, — улыбалась Тамара, поправляя на плече сумку.

Но уже сейчас — довольно и первого занятия в секции! — Тамара поняла, что восточными гимнастикой себя не исправит. Впрочем, ей было всё равно: волейбол, плавание, да хоть женский бокс!.. Лишь бы транжирить время, лишь бы отвлечься, не думать, не вспоминать о том, что произошло. Произошло? Да, произойти произошло, но прошло ли? Ведь пока нет никаких сведений о Курдюмовой. Вдруг она в начале лета опять придет на сессию? Вдруг этот Геннадий Сергеевич просто-напросто выгнал её, и теперь она свободна, и путь к Спириину у неё ещё шире? А вдруг и поездка Тамары в Ясногорск для Курдюмовой уже не секрет?.. Какая-то тёмная тревога поселялась в её душе от этих прилипчивых мыслей с их пивачным холодком будущей неизбежной развязки.

А Олег всё не умолкал. Говорил о безупречных тренингах оздоровления, о каких-то столетних тибетцах, про какую-то философию и всё заглядывал Тамаре в лицо.

Под светом уличных фонарей Тамара действительно была сейчас хороша и, наверное, нравилась Олегу даже больше, чем в спортивном зале, где он поминутно оглаживал возделанным взглядом её фигуру в облегающей

футболке и лосинах. Тамара всё время испытывала на себе его оглушительное внимание.

— Если ты не очень торопишься, зайдём ко мне. На чашку чая. Тут рядом, в двух шагах, ты же знаешь... Я снимаю всё ту же маленькую квартиру. Но удобную. Ты же помнишь... Недавно у меня отец гостил, приехал уговаривать, чтобы я вернулся на Алтай. У нас там огромный дом, красота неописуемая... А родители старятся... Пойдём ко мне в гости, Томочка, — сказал Олег и остановился.

Неожиданное приглашение Тамару сперва насторожило: “Идти к нему? Зачем?” Но потом она прикинула: Спирин в этот вечер будет “обмывать” защиту чьей-то диссертации, придёт поздно или даже очень поздно, к тому же навеселе; срочности в домашних делах — никакой, в перспективе — тупое сидение у телевизора; да и глаза Олега, посаженные природой с некоторым нерасчётом, близковато к переносице, и оттого сбивающие пригожесть его мужественного лица, смотрели так раболепно и так дружески-мило.

— А почему бы и не пойти? — вслух поразмыслила Тамара и приняла приглашение.

...На чайном столике в ажурном подсвечнике горела длинная декоративная свеча; неоновая лампа пронизывала своим светом аквариум, где среди невсамделишных водорослей в соседстве с пугливой стайкой мелюзги проворно плавала крупная красивая рыбка, переливаясь золотом чешуи и большими янтарными плавниками; за аквариумом, раздвигая стену комнаты, в окружении богатой южной растительности уходила в горную долину белая каменная дорога — такой ландшафт представляли фотообои; на другой стене над книжной полкой с глобусом — глиняные маски языческих богов, а напротив в слепые глаза богов с туристического плаката весело смотрел бородатый горнолыжник на фоне снежных круч.

Тамаре было уютно среди этой бутафорской экзотики, мягко на угловом просторном диване, тепло с кобальтовой чайной чашкой в руках. Чай был бесподобно вкусный и ароматный, с “миллионом витаминов”, приготовленный из целебных трав, которые Олег сам собрал в экспедиции в предгорьях Алтая. В чай Олег добавил и какого-то “бодрительного” бальзама.

— Ещё? — предвзврал он уже на полчашке.

Он сегодня очень хотел угодить Тамаре, это было даже слишком заметно. И всё говорил, говорил:

— Томочка, в этом бальзаме удивительные целебные качества, они помогают человеку расслабиться, отпустить себя... Пусть и твои мышцы почувствуют освобождение...

— А мысли?

— И мысли тоже... Давай я тебе ещё добавлю... Это настоящий эликсир свободы. Пусть он напитает каждую клетку приятной тяжестью отдохновения...

У Олега светились глаза, в его голосе слышались нотки учителя Лу. Тамара даже ощутила какую-то отеческую заботу со стороны Олега.

— Человек время от времени должен отпускать себя. Не бороться со своей инерцией, не преодолевать, а отпускать... Человек — создание природы, а в природе это делают все создания. Естественное движение и покорность обстоятельствам. Расслабление и полёт. Как одуванчик: ветер поднимет его, кружит, несёт, а он летит себе спокойно, зная, что всё равно вернётся на землю. Природа всё уравнивает...

— Смотрю на тебя, Олег, и всё думаю: почему ты не предложил мне выйти за тебя замуж? Ведь у нас с тобой что-то складывалось? — вдруг спросила Тамара, простодушно и невозмутимо, с непривычной для самой себя и для Олега смелостью.

С лица Олега сошла улыбка, что-то виноватое обозначилось в наклоне его головы и коротком пожатии плеч.

— Несмышлёный был, — ответил он. — Жил и надеялся, что у меня Тамар будет ещё много... К тому же работа, экспедиции. Когда гоняешься за какой-то идеей, личная жизнь уходит на второй план. Думал, с семьёй

всегда успеется. Но, оказывается, так бывает не всегда... Кажется, я только теперь понял, что мне другой такой Тамары никогда уже не встретить.

— Какой такой? Что во мне особенного?

— Всё, — тихо сказал Олег. — Ты светлая. Ты, как ребёнок, правоты в жизни ищешь. И работа у тебя светлая. В аптеке. Лекарства людям давать, облегчение приносить. И халат на тебе белый...

Она внимательно смотрела на него, слушала и думала с некоторой отстранённостью: “Разнежился он сейчас или всерьёз искренен?.. Скорее всего, и то, и другое. Пожалуй, он и сам не понимает, где говорит от души, а где просто преувеличивает и хочет обольстить и меня, и себя... Найдёт что-то такое на человека, и он, как маленький парашютик с одуванчика, полетит, полетит, не ведая, куда принесёт его ветер. А лететь по ветру приятно...”

— Время ушло, Олег, — заговорила Тамара. — Ты пытаешься ухаживать за мной, но я теперь мужняя жена... Зачем всё это? — И она кивнула на стол с длинной свечой в ажурном подсвечнике, которая свидетельствовала о наличии интимности в намерениях хозяина.

Олег потупился, слегка пожал плечами:

— Я не могу запретить себе ухаживать за тобой. Мне безразлично, что ты кому-то жена. Для меня ты всё равно самая лучшая Тамара на свете. Я человек природы и не люблю условностей. — Голос его стал тих, хрупок, вкрадчив. — Ты мне ещё никогда так не нравилась, как теперь. Ты меня просто с ума сводишь, Томочка...

Он приблизился к ней, и вскоре Тамара почувствовала — как-то отрешённо, без красочных эмоций и удовольствия, — что её целуют в шею, что её не по-спирински и как-то вроде бы не очень опытно обнимают. В этом было что-то безвкусное, неестественное, неуклюжее, хотя и знакомое, не-сколько подзабытое.

Она ничему не сопротивлялась, сидела послушно, немного побаивалась, что коленкой может нечаянно толкнуть низкий столик, на котором стояли чашки, сахарница и чайник, и длинная свеча в лёгком, валком подсвечнике. Из-за плеча Олега она наблюдала, как золотая рыбка отрывисто чертит в сине-зелёной воде бесследные прямые линии и, наверное, ищет в четырёх стеклянных стенах свободу...

Потом Олег задул свечу — церковно запахло дымом, который тонкой сизоватой гадючкой пополз вверх от фитиля; потом умерла где-то в сплетениях водорослей золотая рыбка: Олег выключил подсветку аквариума; потом бессветную комнату тихо заполнили нежные шорохи.

Чуть позже Тамара уснула. Это был нечаянный отдохновенный сон — такой сон может застать человека и в транспорте, и за письменным столом, и у телевизора. Тамару сон накрыл на диване Олега, под пледом, которым они недавно были укрыты вдвоём.

Этот скоротечный сон Тамары был зыбким и радостно беспокойным. Ей мнилось в смутных, полуприглушённых красках, которые наводняли и комнату Олега, многолюдье большого роскошного концертного зала, где она стоит на сцене. Вернее, её номер только что объявил конферансье, и она вышла на сцену.

Сольно Тамара никогда на сцене не пела, а тем более на такой огромной, в таком престижном зале с изысками лепнины и огромной люстрой в тысячу стекляшек. Весь зал, полный публики, замолк и ждёт исполнения. И Тамара без всякого аккомпанеента вдруг запела песню, которую обычно со сцены не исполняют, а поют чаще всего в застольях, как правило, женщины, когда немного выпьют вина и поразмякнут...

*Виновата ли я,
Виновата ли я,
Виновата ли я,
Что люблю?..*

Песню она спела не до конца, слова последних куплетов забыла, да и толком не знала всего текста. Но доброжелательная публика ей друж-

но аплодирует, что-то выкрикивает. А Тамара улыбается, радостно раскланивается.

И тут ей, по-видимому, лучшей исполнительнице песни или лучшей эстрадной конкурсантке, выносят главный приз. Приз выносит тот же конферансье, который объявлял её номер. Тамара только сейчас разглядела, кто этот человек: он был одет он в военную форму и это был сосед Курдюмовых, говорящий с мягким южным “г”.

Он вручает Тамаре большую цветную хлопушку. При этом не просто вручает, а предлагает тут же “бабахнуть” эту хлопушку, дёрнуть за шнурочек на глазах у восторженной публики. Ясно, что ничего страшного не произошло бы: хлопок — и фонтан разноцветных конфетти, и весело, как в детстве у новогодней ёлки. Но сам момент перед “выстрелом” очень трепетен: хочется зажмурить глаза, съёжиться и ничего не слышать. И Тамара всё медлила и медлила дёрнуть за этот шнурочек.

А потом дёрнула — вот он веселящий хлопок и многоцветье бумажного дождя!

...Пробудил Тамару, сорвал красочно-сумбурный короткий сон звон посуды: Олег убирал со стола чашки. Увидев, что Тамара открыла глаза, он улыбнулся и заботливо спросил:

— Не замерзла?

— Что? — промолвила испуганно Тамара. Спросонья она сразу и не поняла, где находится. — Нет, не замерзла... — Только тут Тамара осознанно огляделась и переступила из сна в явь; концертный номер кончился, и тревожения по поводу призовой хлопушки прошли. — А сколько времени? Мне же домой надо.

— Можешь оставаться у меня, — простодушно сказал Олег. — Я даже теснить тебя не буду, на раскладушку лягу...

— Да ты что? Меня же искать будут... — спохватилась Тамара, но при этом не произнесла слово “муж” и не назвала имени Спирина. — Извини меня, Олег. Отвернись. Мне одеться надо...

Когда Олег оставил её одну, Тамара потянулась, вспомнила хлопушку из сна, усмехнулась: “А что, если и вправду не уходить?.. Вот и будет ещё один ход вразрез...”

Она стала собираться, а потом упросила Олега, чтобы не провожал её до дому.

* * *

Домой Тамара вернулась разбитая, потерянная, раздёрганная. Душу тягил ком впечатлений, которому предстояло ещё долго дробиться, чтобы лечь осадком воспоминаний. Она сейчас совсем не знала, не понимала, где и в чём истинный свет, где пристанище и покой для женщины и для *неверной* жены. А самое страшное, как ей казалось, то, что она ни о чём не жалела. Ну, и пусть — Олег! Пусть!.. Но дальше-то как жить? Так же? По-спирински, на два фронта?

Спустя немного времени — как и предупреждал, поздно — вернулся домой и Спириин. Пьяненький и ласковый. Пьяненький он всегда становился обильно нежен и сентиментален.

— Ты, лапа, не сердись на меня?.. Ну, и правильно... Знала бы ты, лапа, как наш “именинник” отвечал оппонентам и какой был фуршет!.. А я для тебя гостинец принёс. Твой любимый шоколад, с орехами. — Карман пиджака зашумел обёрточной фольгой шоколада... — А ты, лапа, была сегодня в своей секте-секции? Ты уже стала настоящей йогкой? Чем вы там занимались? Расскажи мне про какие-нибудь мантры...

Спириин подхватил Тамару на руки, поцеловал в лоб, в нос, в подбородок (хотел в губы — немного промахнулся), продолжал что-то рассказывать о диссертанте и тут же пускался расспрашивать Тамару о восточных занятиях...

Она слушала его сладкий лепет, поглядывала снизу вверх в его голубые глаза и думала с укоризной и смятением: “Ведь я, Спириин, тебе сегодня ото-

мстила. А ты и не догадываешься... Как всё это легко и обыденно... И как глупо! Ведь теперь выходит, что и моя любовь к тебе — не любовь... Да, выходит, что не любовь. Что же это за любовь, если нет в ней верности? Значит, не святая она, значит, не от Бога. А если не от Бога, тогда вон, поди, любись с каждым, лишь бы телу приятно было да на душе не совсем тошно... И зачем я предала Курдюмову? Зачем рассказала про неё мужу?.. Как всё глупо!.. Боже, как я любила тебя, Спирин! Из-за этой любви я сама себя потеряла. Я сама себе противна... А Олег тут ни при чём. Он тоже лекарь, тоже в белом халате ходит...”

И хотя дурманно-мил был шелест спиринского голоса, и влюблённо-тепло синели его глаза, всё же от нынешней *ласковой* участи Тамаре хотелось бы скрыться где-нибудь далеко-далеко; упрятаться бы в келье какого-нибудь монастыря, а ещё лучше — в своём былом девичестве, в неблизком областном районе, в родном тихом селе, — стать школьницей, — когда на душе нет ещё пятен вины, когда неведомо ещё чувство предательства и раскаяния...

10

О любви, которая даётся людям от Бога, Тамара думала неспроста. В тот же вечер, после памятного *вечера* у Олега, она решила сходить в церковь, покаяться. (Олег не оставил ей мук совести, но всё же — измена.) Каким образом это делают: на исповеди в храме или просто в просительном молении, она твёрдо не знала, но знала определённо, что грех может быть прощён Всевышним, если человек искренно в нём раскаялся. И хотя ей больше требовалось прощение не Всевышнего, а примирение “самой с собой”, пойти в церковь она всё же намерилась.

С младенчества Тамара была крещена в сельской церкви, на службы, правда, не ходила, истово в Божью веру не верила, а ступала в храм по необходимости — на отпевание усопших родственников да ради любопытства, перед крестным ходом на Пасху.

В тот день, когда Тамара собралась в церковь, над городом разыгралась снежная буря. Ветер гонял мелкую снежную крупу, ударял в лицо прохожим, порывами сдирая с голов прохожих шапки, а стайку голубей сбросил с тротуара парка низовым сквозняком на снежный газон. Тамара шла, зашленившись воротником пальто от ветра, глядела себе под ноги, стараясь не замечать встречных прохожих. Сам этот визит в церковь она хотела оставить в тайне: зачем лишние вопросы и домыслы, с чего это вдруг она надумала идти в храм Божий.

Дикие голуби, стайкой погнавшиеся на дорожке, отлетели прочь, вверх, на голые ветки тополя. Тамара подняла голову, невольно проследила, куда метнулись птицы, и взгляд её устремился по-над деревьями, и она увидела вдали церковный крест над самой высокой и большой зелёной купольной маковкой. Тамаре захотелось перекреститься, но она почему-то постеснялась прохожих.

И чем ближе она была к церкви, тем ступала осторожнее, робче. Этот городской храм, давно уже ей известный и единственный работающий в их районе, теперь воспринимался ею по-иному: никогда она не тянулась к нему, никогда не стремилась в церковь с надеждою на какое-то искупление и на поиск истины, да и никаких церковных правил и установок она не знала.

Обедня, как поняла Тамара из нечаянно услышанных слов прихожан, уже кончилась. Видать, только что, ибо осанистый батюшка со светлой редкой бородой стоял у аналоя среди моленников. Низкорослая группа немолодых женщин в платках и в стёганных жакетках и пальто, сутулый сухонький старичок в беспогонной шинели и альбинос-мужчина в круглых очёчках окружили священника, с почтительным интересом смотрели на него, внимая его обыденной, не литургической речи.

Четырёхъярусный иконостас полёскивал лаком отреставрированных икон и золотом разделительной колоннады. Под самым куполом, в центре потемневшей потолочной росписи, проступал образ Бога-Отца и полукольцом вытянулась надпись по-церковнославянски: “Приидите ко Мне, все тружда-

ющиеся и обремененные, и Я успокою вас”. В этой надписи скрывалось много подкупающего смысла и утешения.

Из простенков и с квадратных колонн тоже глядели иконописные лики апостолов, святых великомучеников, Богородицы, Иисуса Христа. Пред иконами, отблёскивая на стеклах и окладах, горели в шайбах-подсвечниках восковые, полупрозрачные у огоньков свечки. Эти огни вселяли в душу покой и тепло. Этот свет размягчал слишком трагическую торжественность церковной атмосферы.

Тамара подошла поближе к амвону, чтобы получше разглядеть священнослужителя. Его она увидела впервые. Прежнего настоятеля она иногда встречала на улице, он был преклонных лет, седобородый, сухонький — его в городе многие знали и уважали. Этот же был не так стар, напротив — даже как-то чрезмерно молод для своего сана.

Присмотревшись к нему, Тамара поразились его годам: да он, самое большее, ровесник Спирина, а то и вовсе моложе! Достаточно крупный по фигуре, он имел мелковатые черты лица: небольшие светлые глаза, полуприкрытые бледные, синеватые веки, худой прямой нос и неширокие худые скулы, с которых сбегала светлая поросль слегка курчавой бороды. Держал он себя с достоинством, что-то с расстановкой отвечал на вопрос старика в шинели и при этом придерживал рукой большой серебряный крест на груди.

“Смогла ли бы я ему исповедаться? Рассказать всю правду до доньшика? — спросила себя Тамара. — Ни за что! — ответила она скоропалительно на свой вопрос, с опасением, будто её принуждают к исповеди. — Язык бы не повернулся признаться во всём этому молодому парню, хоть он и в рясе. Как бы он на меня смотрел, узнав, что я и на Курдюмову донесла, и Олегу не отказала!” Она отвернулась от приходского настоятеля, пошла в приговор, где продавали свечи и пёструю церковную утварь.

Здесь, у прилавка, за которым стояла чистенькая старушка с круглым угодливым лицом, охваченным тёмным платом, Тамара увидела двоих парней и девушку. Эту молодую троицу она повстречала ещё у церковной калитки. Парни и девушка подкатили на широкой и длинной, наверняка импортной машине цвета “металлик”. Машина была раздрызганной: с помятым задним крылом, обляпанная снегом и грязью, правая фара наглухо заклеена скотчем, должно быть, разбита.

Один из парней, плечистый и плотный, явно гордившийся своим накачанным торсом, который прочитывался сквозь облегающую кожаную куртку, был наголо стрижен и похож на борца. Другой — тощий и угловатый, как подросток, с длинными, небрежно зачёсанными волосами, был в расстёгнутой дубленке, в расстёгнутой рубашке и демонстрировал на толстой золотой цепи внушительный золотой крест с распятием. Он был похож на дворового хулигана...

Девушка была в джинсах и ярко-красной куртке, смазливенькая и смешливая, в меховой кепочке, надетой козырьком на затылок, она выступала у них за поводыря. Сперва Тамара невзначай, а после уже с любопытством слушала, о чем они говорили.

— Ты чего свечки какие-то хилые купила? — упрекнул девушку “борец”.

— Ну, ты и дурень! — огрызнулась та с усмешкой. — Толстые в подсвечник замучаешься втыкать.

— Всё равно! Надо одну большую взять. Чтoб за всех пацанов, — сказал “хулиган”.

— Где тут мужик, которому за здоровье ставят? — спросил девушку “борец”.

— Николай Чудотворец?

— Да хрен его знает!

— Ты хренами-то здесь не разбрасывайся, — тихо и смешливо прошипела девушка. — Не в баре сидишь. Фильтруй базар!

— Мне бабка говорила, надо мужику с копьём поставить. Чтoб менты отвязались, — сказал “хулиган”, купив толстую длинную свечу.

— Это Георгий Победоносец, — догадалась девушка.

— Точно! — обрадовался “хулиган”. — Ему надо. Он ментов копьём мочит.

— Ну, с кого начнём? — спросил “борец”.

— Пойдём к иконе Всех Святых, не промахнёмся, — указала девушка на мрачноватую икону с маленькими невзрачными фигурками.

— Ну-у, эта какая-то тормозная. Давай покрасивше выберем. Кто этот мужик на камне?

— Я ж сказал: надо с копьём!

— Да не спорьте вы! Всем свечек хватит.

— И этому надо, Иисусу. Который на кресте повешен.

— В ящик, на восстановление церкви, брось столик.

— Давай у старух спросим. Они всё расскажут.

— Ладно, почапали. Счас сами разберёмся, — приказала девушка.

Краешком глаза Тамара подсмотрела, как троица двинулась к иконам. По пути они тыкали друг друга локтями и кивали то в одну сторону, то в другую.

“Да ведь я такая же, как они, безграмотная! — спохватилась Тамара. — Толком не знаю, какому святому надо свечку поставить, как помолиться, чтобы на путь истинный наставили. Может, и вправду к иконе Всех Святых идти — не промахнусь!..”

Батюшка скрылся в боковой двери алтаря. Разошлись и прихожане, лишь несколько человек рассредоточились по просторному храму вблизи настенных образов. Тамара стояла возле колонны с иконой Всех Святых, держа в руке зажжённую свечку. “Дай, Господи, здоровья всем моим родным и близким. Чтоб Юрка в армии служил хорошо, чтоб мама не болела. Чтоб у Спирина всё на работе складывалось. Чтоб Олег не думал обо мне плохо...” — мысленно говорила она речитативом, как молитву. Но слова выходили какие-то порожные, бездушные. Настоящих религиозных прошений она не знала, а самой сочинить — не складывалось.

Она поставила свечку в надраенный медный подсвечник, перекрестилась, отошла от иконы. “Теперь надо за себя как-то помолиться, прощения у кого-то попросить. У кого?” — Тамара рассеянно оглядывалась по сторонам и тискала в руках ещё одну свечку, покуда без огонька.

В церковь сквозь решётчатые высокие окна прорывались косые лучи света, будто окрашенные в белый цвет снегом, который плескался на улице. На этом фоне хорошо виднелись потоки клубящегося сизого дыма от свеч и кадила; в этом дыме таилась какая-то загадочная тревожная красота. Тамара некоторое время наблюдала за сизыми клубами, потом снова обратилась к иконам.

Сусальное церковное золото чинно отблёскивало на окладах, с икон на людской мир глядели мудрые глаза праведников. Тамара заметила необычную женщину, сухую, отрешённую, в длинном сером пальто, в глухо повязанном платке. Став на колени перед одной из икон, она начала истово молиться: размашисто крестилась, отбивала земные поклоны.

Тамаре стало неуютно. Она отошла в сторону, за колонну, чтобы не видеть чужого моления. Так молиться, как эта женщина, она никогда бы не смогла. Да и вообще: где ей найти пристанище, к кому обратиться, о чем просить? На что она надеялась? Зачем сюда пришла, в это святое место? Не ходила, не ходила, а теперь прибежала... Попросить у Господа защиты и искупления? А раньше-то где была? О чём думала? Ведь ещё тогда, когда согласилась идти к Олегу на чай, именно тогда — пусть очень приблизительно, пусть несерьёзно и опасно, — но уже тогда она подумывала о том, что может произойти: и о ласковости Олега, и об отмщении Спирину.

Зачем теперь она сюда пришла? Что хотела объяснить? Что себе вымалывать? Сперва нагрешила, а потом в церковь побежала? Здорово придумано! В церковь, как в баню, стали ходить, грязь с себя смывать. Вот моду взяли! Воры, проститутки, партийцы коммунистические — все кресты нацепили и в церковь! Да ведь это все враньё. Обман! К Господу-то надо в чистоте прийти, в безгрешии, с полной искренностью. Тогда и будет истинная вера. А если иначе — всё выгода, корысть. Какая ж тут вера?

Тамара заметила, как двое парней — крепыш “борец” и волосатый “хулиган” — и находчивая девушка в меховой кепке, надетой задом наперёд, пошли к выходу. Толстая свеча, заметная из-за своего роста, горела перед большой иконой с изображением копыеносца на коне.

“И у меня всё шиворот-навыворот получится, — погрустнела Тамара. — Не надо мне здесь никаких покаяний. У меня своя правда!”

И всё же, чего-то внутренне убоившись, она робко подошла к иконе Богородицы с Младенцем, зажгла свечку. Божественный вид Богоматери со Святым Чадом имел какое-то особое притяжение и особенное значение для Тамары...

Свечка разгоралась медленно: сперва маленький сизоватый шарик пламени теплился на фитильке, потом занялся сильнее, пламя выросло, потянулось вверх, под фитилем появился расплавленный блестящий воск. Прикрывая ладошкой осмелевшее пламя, Тамара поставила свечку меж двух других свечек в пустую капсулу под икону, перекрестилась и недолго постояла в грустной и в то же время какой-то непонятной, успокоительной раздумчивости.

К выходу шагала осторожно, стараясь приглушать гулкий стук каблуков о бетонный церковный пол. А на улице перемахнула себя крестообразно щепотью и глубоко вздохнула. Надо жить дальше! И даже порадовалась ветру, снегу, неистовавшей метели.

II

Миновало почти два месяца. Почти два месяца нет покоя Тамаре. Даже на работе всё время душа не на месте. Надо что-то предпринимать! Для начала хотя бы сходить в женскую консультацию. Но и этот неизбежный визит к врачу Тамара несколько раз откладывала.

С одной стороны, она с радостью понимала и без всяких врачей, и без всяких анализов, и без тестов своё новое женское *положение*, с другой — она приходила в отчаяние, догадываясь о том, что это новое положение создано ею незаконно, вернее, не так, как должно быть, не так, как мечталось.

Врач, однако, была весьма разговорчивой, вовсе не моралисткой, с полуслова понимающей, в чём сложность положения. О! если бы только сложность, Тамара по потолку бы от счастья пробежала!

— Ольга Андреевна, скорее всего, я беременна от другого человека, не от мужа, — сказала Тамара врачу, когда их неспешный разговор дошёл до той черты, которая уже предполагает и полную откровенность, и надежду на сохранение тайны.

Мало того, Ольга Андреевна была ей прежде знакома, ещё до замужества: как-никак, Тамара работала в той же сфере...

— Ваш случай не нов в нашей практике. Вам следует рассмотреть все моменты, связанные с таким случаем. Во-первых, известно ли вашему партнеру, что вы беременны, и насколько он будет, условно говоря, претендовать на вашего ребёнка, если ему об этом станет известно? Во-вторых, муж... Насколько он осведомлён о происходящем... В-третьих, родственники, особенно со стороны мужа... Знайте, что все свекрови очень бдительно относятся к невесткам... В-четвёртых, и это главное, ваши собственные ощущения... Насколько вам дорога ваша первая беременность и насколько вас страшит её прерывание со всеми вытекающими последствиями... А ещё есть аспекты чисто практические...

Ольга Андреевна говорила толково, обстоятельно, заботливо по отношению к Тамаре. Многие из того, о чём она предупреждала и в чём просвещала, Тамара уже десятки раз передумала и сама. Но одного “аспекта” Тамара не обдумывала совсем, боясь его, как огня.

— И ещё, Тамара, вам нужно быть психологически всегда готовой расстаться с мужем, — сказала врач, словно почувствовала жгучий “аспект” Тамариных переживаний. — Женщина должна уметь выбирать между своим ребёнком и мужчиной.

Этот “выбор” приводил Тамару в смятение.

Сегодня и на работе Тамару обескуражили безгласным вопросом. В отделе кадров аптечного управления решили обновить личные дела сотрудников и обяжали заполнить анкету. В графе “семейное положение” Тамара твёрдо выбрала “замужем”. Подчеркнула и задумалась. Что-то уципнуло внутри: “Неужели может кончиться моё замужество? Неужели может всё оборваться, рассыпаться?”

Человек, должно быть, живёт с вечной надеждой на самосохранение и неуязвимость. Где-то случилось землетрясение, и целый город в развалинах — далеко, не у нас; где-то самолёт сорвался в штопор — и это не с нами, далеко, несбыточно; в каком-то городе жилой дом террористы подорвали, невинных людей — ох, как жаль! — а всё равно не близко; где-то поезд с рельсов сошёл, паром с туристами затонул, автобус на дороге — в лепёшку, неизлечимая опухоль — всё это вроде где-то, или за километры, или хотя бы за стеной, но не у нас, не с нами. Ведь и она, Тамара, никогда не могла представить себя обманутой мужем, несчастной матерью-одиночкой, без любви и семейного очага. Ей всегда казалось: чаша сия минует её точно так же, как должны миновать катастрофы, войны, сокрушительные подземные толчки.

Но случился расчёт: все людские неприятности и беды предназначены именно для людей, и исключений не находится и не предвидится. Вот и ей, Тамаре, придётся что-то пережить такое, о чём она могла подумывать лишь отвлечённо, про других каких-нибудь девушек и женщин из драматических книжек.

— Спасибо, вам, Ольга Андреевна, — благодарила Тамара. И хотя никаких решений, никаких шагов не предвидела в близком и даже далёком будущем, — пусть катится всё, как катится! — всё же разговор с врачом подарил ей *проверенную* радость будущего материнства.

Дома Тамара сидела у окна в кухне и глядела на улицу. За окном шёл первый весенний дождь. Туманная рябь дождя объяла город. В дожде таилось одновременно и уныние, и успокоение. Дождь умирал своей серой задумчивой бесконечной монотонностью; отчаяние, острая боль, ярость — не серого, не монотонного цвета... Тамаре дождь был сейчас по душе. Хотелось тихо поплакать. Дождь распускал с небес влажные нити и ровным печальным шумом наполнял пространство за окном.

Когда-то Тамаре мечталось шепнуть на ухо Спирину: “Спирин, я беременна...” Вот, пожалуйста, время настало — шепни... Верно говорят: беда в одиночку не приходит. Да какая ж вторая-то беда?! Ребёнок — это радость! Только поделиться этой радостью не с кем...

Наконец, Тамара вздохнула и принялась готовить ужин: скоро должен был из университета вернуться Спирин. А она ему законная жена.

12

Нынешний вечер припас Тамаре возвращение в пустой дом: ещё вчера Спирин уехал на семинар в Санкт-Петербург, где пробудет несколько дней. Идти домой, чтобы вечер коротать в одиночестве, Тамара не спешила. Надумала позвонить Софье, с которой не виделась больше месяца.

— Непременно буду ждать! — говорила по телефону Софья. — Сейчас весна, мне катастрофически не хватает витаминов. Принеси мне тех, импортных, в красочной упаковке, помнишь? И что-нибудь от аллергии захвати, обязательно! Жду!

Весна в эту пору шла вразвалочку, без огонька: солнечных дней было мало, всё больше пасмурные, хоть и не холодные, но тепло без солнца топилло снег в неохотку — было слякотно. И всё же воздух был приятно-мягким, с таинством всеобщей побудки: крохотные серые мышки-серёжки облепили матово-бурые ветки вербы.

Узкий ручеёк бежал вдоль бордюра, стекая вниз по наклонной мостовой. Тамара заметила, как рядом плывут два самодельных кораблика, маленькие, составленные из спичечных коробок, колеблются на мизерных волнах.

На перекрёстке ручеёк делал поворот, и один из корабликов вынесло на излучине на прибрежный асфальт, другой поплыл дальше... “Вот и разошлись, — усмехнулась Тамара, — как в море корабли...”

Прошло ещё несколько недель, а у Тамары по-прежнему не было разговора со Спириным. Он, вероятнее всего, и не подозревает, что она ждёт ребёнка. От кого? От Олега? Этого она на все сто процентов утверждать не могла, но... Процент вероятности отцовства Спирина просто ничтожен... А если она объявит Спирину о своей беременности — назад уже не вернёшься, придётся *играть*... Всю жизнь *играть*? Но и оттягивать дальше некуда: вот Спирин придет из командировки, и она ему всё расскажет... Нет, разумеется, не всё...

— Спасительница моя пожаловала! — радостно встретила Тамару Софья, обняла ее, прижалась к ней, по-французски вкусно надушенная. — Я весной буквально умираю от аллергии! А ещё я чувствую, просто каждой клеткой чувствую, что мне не хватает витаминов... Мне один знакомый посоветовал гормональные препараты принимать. Это не вредно, Тамарочка? Гормональные?

— Тебе всё пойдёт только на пользу, — откликнулась Тамара, а мимоходом подумала: “Счастливая ты, Соня. Мне бы твои проблемы. И то правда: иногда одиночество для женщины — настоящий просвет...”

Слушая знакомый щебет Софьи, Тамара ненароком увидела на её столе знакомую папку с номером ЮЗ—44, причём папка, наверное, находилась в работе: тесёмки были развязаны. Дурные воспоминания болезненно встрепенулись в душе Тамары: промелькнуло красное платье Курдюмовой, грубый овал лица её мужа, недоверчивый взгляд Курдюмова-младшего.

Софья с каким-то наркотическим вкусом вертела нарядную коробочку импортных витаминов, а потом тоже натолкнулась взглядом на папку посреди стола. Молча открыла её, взяла сверху учётную карточку и протянула Тамаре:

— Смотри... Целая история!

Тёмные глаза Курдюмовой на маленькой фотографии вобрали Тамару, как в прорубь: леденящее чувство близкого разоблачения охватило её. Она с трудом освободилась от цепкого курдюмовского взгляда, искоса посмотрела на Софью.

— И смех, и грех, Тамарочка! — Софья устроилась в кресле поудобнее, чтобы, вероятно, насладиться своим рассказом. — Месяца два назад приезжает к нам муж этой особы и говорит: отдайте документы моей жене! Важный такой, скандал устроил. Мы ж документы ему отдавать не имеем права... Он всё-таки добился своего, к проректору ходил... Проходит ещё месяц. И что ты думаешь? Эта особа, Светлана Курдюмова, присылает свои документы обратно и восстанавливается на учёбу. Вышло, дескать, недоразумение... Ну, мы принимаем, конечно... А вчера, — Софья пухловатым пальцем, на котором весомо сидел перстень, потыкала в лежащую перед ней карточку. — Вчера...

“Что? Что вчера? Не тяни ты!” — хотела закричать Тамара. Едва удержалась.

— ...снова приезжает её благоверный и снова требует её документы. Умора... — рассмеялась Софья.

— В чём же тут умора? — спросила Тамара.

— Эльвира мне всё объяснила, наша лаборантка, — весело отвечала Софья. — Она тоже из Ясногорска, каждые выходные к матери ездит... Курдюмова у неё в приятельницах ходит... Ты, наверно, помнишь Эльвиру? Причёска такая коротенькая. Фигурка ничего. У меня тогда сидела. В очках. Она и объяснила... Этот, муж-то её, Курдюмов, жену приревновал крепко. Дескать, на сессиях она тут с кем-то путалась. Видимо, поскандалил круто. Документы поэтому отсюда и забрал... Вот такой гусь. Но и она ещё та птица. Не будь душой — застучала своего мужа в сауну с бабами. Снова скандал — и документы на место. Он, этот Курдюмов, из каких-то начальников, а они, сама знаешь, любят такие штуки...

— Нет, не знаю, — вставила Тамара. — И знать не хочу.

Вставная реплика Софью не смутила.

— Вот они теперь друг за дружкой бегают, следят. Эльвира говорит, ради ребёнка поладили. Он, говорит, теперь эту Светлану к себе на работу устроил, никуда не отпускает. Как привязанные ходят. — Софья ненадолго прервалась. — А вчера, когда он в очередной раз документы забирал, про Спирина почему-то спрашивал. Увидеть его зачем-то хотел...

Тут у Тамары что-то обвалилось внутри, всё на мгновение всколыхнулось перед глазами; стало душно и захотелось сразу выбраться на улицу, на воздух.

— Но твой Спирина в командировке. Это и к лучшему... Она, эта Курдюмова, такая эффектная, на неё мужчины поглядывали... — Софья повертела в воздухе рукой, изображая этим эффектность Курдюмовой, и с лукавой улыбкой, безобидно и легковесно добавила: — Твоему Спирина, говорят, она тоже когда-то нравилась... Но это я так, к слову. Не принимай всерьёз.

— Я пойду, — тихо сказала Тамара и, опираясь о спинку стула, медленно поднялась. Внешне получилось так, словно бы то, о чём рассказывала Софья, Тамару не заинтересовало и не особенно-то её касалось...

— Куда ты? Посидела бы ещё! Можно кофейку соорудить...

— В другой раз. На улицу хочу. На воздух, — сказала Тамара, взглянув на прощание на фотографию Курдюмовой.

— Поблудила ты, — забеспокоилась Софья. — Да ты не в положении ли? Я тут разболталась, а тебе, может...

Тамара не ответила, виновато улыбнулась:

— Нет-нет, всё нормально.

* * *

Смеркалось. Купол неба снижался, накрывая землю первыми негустыми потёмками. Улицы были ещё оживлены движением людей и машин и полны звуков. Но для Тамары всё будто отдалилось, будто онемело: бесшумно катили машины, безголосо разговаривали друг с другом прохожие, беззвучно текли ручьи.

Она слышала сейчас другое: свой разговор с Курдюмовым, возглас Светланы Курдюмовой из её накрашенных губ: “Ты представляешь?”, — ироничное замечание Софьи о том, что теперь они “друг за дружкой бегают, следят...”

Всей правды, всех деталей Тамара, понятно, не знала, но она вдруг отчётливо поняла, что сыграла, быть может, роковую роль в жизни семьи из города Ясногорска, живущей там на улице Дружбы в доме номер девять, в десятой квартире. Поняла она и другое: так, как они живут, она жить не хочет, а главное, уже не сможет... “Друг за дружкой бегают, следят...”

И что же теперь делать? В университете про Курдюмовых уже знают. Приедет Спирина, и ему наверняка всё откроется. Этот Геннадий Сергеевич, оказывается, ещё и встречи с ним ищет... “Может, к бабке Люше сходить? — вдруг осенило Тамару. — Она вразумит, подскажет. Ведь и соль мне она дала. Если бы не соль, я и не подумала бы в Ясногорск ехать”.

Но надежда на бабушку Люшу скоро погасла. Не советчица она Тамаре. Она и раньше не советчица была... Разве могла бабка Люша, у которой и своя-то судьба поповеркана, чужую жизнь исправить?! С большой душой чужие души лечить? Не получится... Доктор должен быть здоров, чтобы браться за своё дело, — так Тамару в техникуме учили. Нет, бабка Люша Тамаре сейчас и вовсе не подмога.

Придя домой и не сняв пальто, Тамара вошла в комнату. На столе возле вазы лежали красные пальцы лепестки увядших тюльпанов, принесённых Спириным накануне, перед отъездом в командировку; рядом со столом на спинке стула висел серый рабочий пиджак Спирина с надломленным плечом; забытая помятая тёмно-фиолетовая сорочка валялась в кресле, один её рукав лежал на полу. Тамара забыла прибраться, и повсюду в доме царил за-

пустение и беспорядок. И кажется, было зябко, почти как на улице. Тамара, по-прежнему не раздеваясь, села на краешек дивана, будто решила чуть-чуть передохнуть и потом снова идти дальше. Словно здесь, дома, не собиралась и оставаться...

Что же всё-таки произошло? Зачем она поехала в Ясногорск, устроила всю эту заваруху? Тамара старалась разобраться в том, как развернулась её жизнь, как всё покатилося под уклон.

Хотела заговоренной солью отучить Курдюмову от Спирина — не вышло. Решила проучить её через мужа. Проучила! Но чего-то не просчитала... Чего? Себя! Себя она не просчитала... Как там говорила Софья: ход “вразрез” меняет всю картину. Но он и человека меняет в этой картине... Разве смогла бы она, *не изменённая*, не обманутая Спириным, сойтись с Олегом?

За окном темнело. Фасады домов, занавешенные прозрачным туманом потёмнок, тускло озарялись зажжёнными, разбросанными по этажам окнами. Свет в окнах в теперешней мгле почему-то казался желтее и робче, чем обыкновенно. Казалось, не лампочки, а свечи горят в квартирах.

Тамара вспомнила длинную свечу на чайном столике у Олега, а потом — свечи в подсвечнике в церкви, перед иконой Богородицы; неведанное ранее чувство тепла пришло откуда-то изнутри, из-под сердца...

Скоро Тамара поднималась по лестнице в маленькую удобную квартирку Олега. Волновалась, подбирала слова, которыми объяснит ему свой неожиданный приход. В какие-то мгновения у неё появлялось необоримое желание тут же, с порога, крикнуть ему: “Спаси меня, Олег! Избавь меня от обмана, от моего страха... От Спирина, от Курдюмовых, от меня самой... Я была так доверчива и неопытна, что натворила много ошибок... Я больше не буду... Ведь и ты, и учитель твой Лу доказываете, что если любовь приносит кому-то зло, это уже не любовь. Любовь должна приносить людям радость. Вот и научи меня так любить...”

О будущем ребёнке Тамара решила ничего не говорить пока. Если Олег от неё без ребёнка не откажется, то с дитём станет любить ещё сильнее, и с разными Курдюмовыми впоследствии путаться не будет, а если и будет, то Тамара уже учёная, не заметит, да и измена от Олега — не то, что от Спирина, не тот случай...

Но никаких объяснений Олегу не потребовалось. Он открыл дверь, увидел растроганную Тамару, её искупительные слезы в глазах, вероятно, всё объяснили ему; он обнял её и смело сказал:

— Теперь я тебя никуда не отпущу...

13

Прошло несколько решающих дней этой затянувшейся слякотной весны...

Как-то поздним сырым вечером, от которого хочется поскорее сбежать под кров, на железнодорожном вокзале в ресторане, недорого и давненько не отремонтированном, так что истрескались квадратные колонны в кремовом колере, сидел за пустым столиком офицер в чине капитана с эмблемами танкиста в петлицах. От безделья, в ожидании официантки, он вертел в руках фужер. Сбоку к столику подошёл человек в сырых разбухших ботинках, в сером пиджаке и тёмно-фиолетовой рубашке тусклого, невыигрышного тона.

— Можно? — негромко и равнодушно спросил он капитана.

— Пожалуйста, — без любезности отвечал военный.

Теперь они делили ожидание вдвоём. Молчали. Пришедший к беседе был пока явно не расположен: хмурый, с потупленными глазами, с измученным небритым лицом. Вероятно, так он выглядел от дороги, пересадок, томления у билетных касс и прочих вокзальных неудобств. Капитану не хотелось тревожить его вопросы. Молчали они и после того, как официантка в кружевном кокошнике и белом переднике, на поясе которого висела на леске бутылочная открывалка, приняла заказ. Первыми словами они перекинулись лишь *под водку*: сидеть напротив и пить поодиночке русскому человеку не с руки. Они подняли налитые рюмки, кивнули друг другу.

— За ваше здоровье, — сказал капитан.

— Взаимно, — ответил сосед.

Выпили, стали закусьивать салатом.

— Проездом? — спросил капитан, начиная испытывать размягченность от тёплого воздействия водки.

— Нет. Мимо шёл. Выпить захотелось, — ответил ему сосед, посмотрев большими грустными голубыми глазами.

Это был Спирин.

“Умный мальчик”, — говорили про него в детстве. “Парень что надо”, — так оценивали его в юности. “Клёвый чувак”, — на молодёжном жаргоне называли его в пору студенчества, “Хороший мужик”, — в последние годы характеризовали его сослуживцы. Спирин и в самом деле был человеком достаточно умным, понятным и *широким*. Бог дал ему красоту лица и ладность осанки, нормальное здоровье, выдержанность и рассудочность натуры.

На своём пути он не встретил людей, которых бы люто, непростительно возненавидел; со многими его спаяла дружба, он легко сходилась и с молодыми, и со старыми. Если где-то в компании разговор обращался к политике, он толково поддерживал его, недаром же по профессии — историк; если говорили о модном литературном авторе, он что-нибудь у него непременно читал; если кто-то предлагал ему сразиться в шахматы или на символический проигрыш в преферанс, он не отказывался и играл недурно; если в каком-то театре потчевали выразительной премьерой, он заглядывал туда, но при этом успевал азартно следить и за хоккейным чемпионатом.

Он жил полнокровно, определённо и достойно, оттого и слыл “хорошим мужиком”. Некоторые ещё прибавляли с завистью: “Сердцеед... Бабам очень нравится”. Это было правдой: женщин он к себе располагал, но бабником всё же не был.

Он сблизился с несколькими женщинами, но это не было спортом, развратом или сладострастием — его лёгкие увлечения, как правило, потихоньку тускнели и мирно умирали либо переходили в дружеские отношения. В брак он вступил человеком зрелым, по обоюдной любви, с расчётом на долговечность и незыблемость семейных уз. А что до встреч со Светланой Курдюмовой, так это было нечто вроде вкусного *гарнира* — прихоть мужского себялюбия и некое утверждение мужской гордости. С его данными, с его возможностями вроде бы было непростительно не иметь весёленькой милашки-любовницы — для полноты жизни...

К тому же увлечение Курдюмовой осталось из *дотамариного* прошлого и продолжалось по инерции: полулюбовная-полудружеская страстишка... Конечно, если бы Спирин почувствовал, что его отношения со Светланой грозят его семейному благоденствию, он бы тут же всё исправил: ублажил бы Тамару, а любовнице просто и коротко объявил бы: “Увы, Светик, я женат. Семья есть семья, сама понимаешь. Останемся друзьями. Ну... давай на прощание свою лапку, Светик...” С женщинами он всегда предпочитал шутливо-любезный слог, но никогда не сюсюкал с ними, не выворачивал перед ними свою душу наизнанку, и сам не лез в душу к ним. Однако Спирин этого не почувствовал и таких слов не произнёс...

В первый момент, когда до Спирина дошли вести, что его хочет видеть некий господин из Ясногорска с известной ему фамилией Курдюмов, он воспринял это с некоторым недоумением и досадой. “Эх, Светик, — искренно почувствовал он своей ученице. — Неужели ты проболталась своему мужу? Осмотрительнее надо быть. А уж если попалась, лисой нужно виться. Подозрения не усугубляют, их заглаживают...”

Спирин не хотел думать о том, что нить из семьи Курдюмовых тянется не только к нему, но крадётсся и к Тамаре. Позднее причастность Тамары к этой истории утаить не удалось: люди слишком любопытны и дотошны, когда дело доходит до семейных разладов. Впрочем, перипетии в семье Курдюмовых Спирин мало интересовали, ему было не до них...

Когда Спирин вернулся из командировки из Санкт-Петербурга, родной дом встретил его пустотой и неуютом. На столе в комнате он нашел записку от Тамары: “Я больше не могу любить тебя, Спирин. После твоего обма-

на я не смогла сохранить семью. Я беременна от другого. Не ищи меня. Прощай". Рядом с запиской лежало обручальное кольцо Тамары, которое показало Спирину каким-то очень маленьким и чужим.

...Официантка подала горячее: лангеты с жареным картофелем и зеленью, пожелала приятного аппетита, улыбнулась сухой дежурной улыбкой. Капитан и Спирин выпили ещё по рюмке, без тостов и слов, лишь с кивком головы.

После этой рюмки капитана сладко разобрало, всё вокруг стало ему определённо нравиться: некая уютная обтёртость ресторанный зала с мутными низкими люстрами, горячая пища на продолговатом стальном блюде с раскроенным начетверо зелёным маринованным помидором, откуда-то из-за квадратных колонн звучащая негромкая лирическая песня и даже сосед, какой-то запущенный и печальный, но всё же отзывчивый и понятливый товарищ в застолье.

Капитан ехал с учёбы из военной академии в свою часть и задержался в этом городе не ради пересадки, а по случаю: в поезде он познакомился с приглянувшейся ему женщиной из местных, приглянулся ей сам, вышел вместе с ней и провёл ночь у неё в гостях. Чего ему хотелось, уже сполна исполнилось, и теперь он чувствовал даже опустошение, пощипывания совести и желание поскорее добраться домой, которое вылилось в желание остаток времени до поезда убить за рюмкой и ужином в дорожном заведении.

— У подруги здесь задержался. На ночьку, — заговорил капитан, отрезая ножом кусок отбивной. — Теперь — домой, к родным, хватит приключений, — усмехнулся он. — А у вас есть подруга?

— Нет, — тихо ответил Спирин.

— А жена?

— И жены нет.

— Как же так: ни жены, ни подруги? — безобидно удивился капитан.

— Подругу уличил муж. Он теперь держит её в ежовых рукавицах. А жена сбежала с другим...

Капитан насторожился, пристально взгляделся в усталое красивое лицо собеседника. Спирин молчал, глядя неподвижно на бумажные салфетки в тонком стакане посреди стола.

— Почему? — не утерпел капитан, не в силах вынести долгую паузу в речи заинтриговавшего его соседа.

Спирин сидел, не пил и не притрагивался к лангету. Он думал о Тамаре: казалось, она стояла здесь, совсем-совсем рядом, в трепетной близости, всё с теми же крапинками зелени в серых глазах, скромная и тихая, и такая, как оказалось, непредсказуемая и отчаянная...

Спирин посмотрел на капитана, положил нож и вилку, которые уже давненько взял в руки, но не успел ими поорудовать, и задумчиво произнёс:

— Люди слишком усердны в личном счастье. И подруги, и жёны. И мы с вами... Не правда ли? Алчность толкает людей на преступления, и вам, как человеку военному, это, вероятно, известно...

Капитан изумлённо молчал и с каким-то опасением глядел на собеседника. И чем дольше он находился в его обществе, чем дольше слушал его странные рассуждения о "человеческих страстях", тем острее ему хотелось домой. Словно и над его домом нависла угроза. Он опять посмотрел на часы, поторапливая стрелки и поезд.

— Казалось бы, чего не жилое моей жене? Ей ни в чём не было отказа и ущемления, — продолжал Спирин. — А вот не жилое! Узнав, что у меня есть подруга, она не стерпела поражения в личной, физиологически личной жизни... Не поступлюсь ничем, не прощу! Лучше дров наломать, чем смирюсь и пойму... Люди глупы. Можно обойтись без войны, а они все равно воюют. Вот и вы в форме... — И он опять потянулся к графину с водой.

Их ужин продолжался без разговоров. Скоро проезжий капитан и Спирин расстались. Без рукопожатия, лишь кивнув друг другу.

Эпилог

Сделанного не воротишь, историю вспять не повернёшь. Год летел за годом. Минуло почти пять лет.

Тамара была счастлива. Она обрела ровные, нежные чувства к Олегу, освоилась в роли хозяйки домашнего очага, а главное — родила сына. Ему уже исполнилось четыре года, и он повсюду бегаёт и обдирает коленки...

Они с Олегом живут на Алтае, в просторном родительском доме на берегу быстротечной речки, в живописных заповедных местах. Тамаре здесь очень нравится. За все эти годы на родину она ездила лишь однажды, чтобы повидать мать и брата Юрку, который демобилизовался из армии.

О некоторых событиях, что происходят в городе, где училась и жила Тамара, ей в письмах рассказывает Софья. “По секрету” Софья сообщает, что Спирин “по уши занят наукой, пишет докторскую...” и что по-прежнему у него нет ни жены, ни детей, и что он якобы и не помышляет об этом.

Когда Тамара читает такие строки в Софьиных письмах, она загадочно улыбается и в шутку решает, что такие, как Спирин, должны принадлежать всем женщинам, а не только одной... И всё же, положив руку на сердце, Тамара всё ещё любит Спирина, тихонечко и тайно, но уже другой, отстранённой, воздушной любовью. Такой любовью награждают киноактеров или эстрадных певцов, которые никогда не предадут, не изменят, а ревность к ним легка, наивна и не губительна.

А ещё Тамара иногда подолгу смотрит на сына. Сын, бесспорно, от Олега, но она почему-то очень хочет найти в нём черты голубоглазого неотразимого Спирина.